Максим Горький

Горемыка Павел

Максим Горький
Горемыка Павел

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=170399
М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах: Государственное издательство художественной литературы; Москва; 1949

Аннотация

Впервые напечатано в нижегородской газете «Волгарь» в 1894 году в двадцати пяти номерах газеты: с номера 80 – 8 апреля по номер 152 – 6 июля.

В письме к А.М.Горькому от 7 января 1910 года доктор В.Н.Золотницкий сообщал, что в среде нижегородских знакомых Горького возникла мысль об издании сборника его ранних произведений с благотворительной целью. Золотницкий упоминал при этом и повесть «Горемыка Павел». Прося разрешения на публикацию, Золотницкий указывал, что ранние рассказы будут собраны и присланы Горькому на просмотр. В письме (без даты) с острова Капри Горький ответил, что он будет очень благодарен, если В.Н.Золотницкий и другие лица, заинтересованные в издании его рассказов, помогут их собрать.

Горький указывал, что более подходящим для данной цели, возможно, окажется «Горемыка Павел», просил достать комплект «Волгаря» и перепечатать повесть на машинке.

Просьба, по-видимому, была выполнена – в Архиве А.М.Горького сохранилась машинопись с текстом рассказа,

являющимся перепечаткой газетной публикации. Текст машинописи имеет авторские исправления. На первых четырёх листах правка очень значительна, дальнейший текст до двадцать второго листа содержит замены и вычерки отдельных слов.

Исправленный А.М.Горьким текст следует считать началом второй, незаконченной редакции повести.

В письме от 18 августа 1930 года к директору Литературного музея имени А.М.Горького в Нижнем Новгороде А.И.Елисееву А.М.Горький сообщал, что повесть «Горемыка Павел» перед публикацией в «Волгаре» «портили в две руки: редактор „Волгаря“ А.А.Дробыш-Дробышевский, человек сухой, самовлюблённый и упрямый, вычеркнул из повести фигуру повара, которая проходила с начала повести до конца, а затем цензор» (письмо опубликовано в «Комсомольской правде», 1939, 21 июня).

В собрания сочинений повесть не включалась.

Так как новая редакция повести была только начата, – в настоящем издании «Горемыка Павел» печатается по тексту газеты «Волгарь».

Горемыка Павел

Родители моего героя были очень скромные люди и потому, пожелав остаться неизвестными обществу, положили своего сына под забор одной из самых глухих улиц города и благоразумно скрылись во тьме ночной, очевидно, не ощущая в своих сердцах ни гордости своим произведением, ни столько сил, сколько нужно для того, чтоб создать из своего сына существо, на родителей его не похожее.

Последнее соображение, – если только они им руководствовались в ту ночь, когда решили передать своё дитя на попечение общества, – а что они решили именно так, на это указывало пришпиленное булавкой к тряпкам, в которые они его окутали, лаконическое сообщение на клочке почтовой бумаги: «Крещён, зовут Павлом», – последнее соображение, говорю я, рисует родителей младенца Павла людьми и не глупыми, ибо прямая обязанность громадного большинства отцов и матерей заключается именно в том, чтоб всячески предохранить своих детей от тех привычек, предрассудков, дум и поступков, на которые они, родители, затратили весь свой ум и всё сердце.

Младенец Павел, когда его ткнули под забор, некоторое время относился к этому факту как истый фаталист, лежал неподвижно и хладнокровно сосал сунутую ему в рот жвачку из хлеба, завёрнутого в кисейную тряпочку, а когда это ему

надоело, то он вытолкнул её изо рта языком и издал некоторый звук, почти что не поколебавший тишины ночи.

Ночь была августовская – тёмная и довольно свежая, – чувствовалась близость осени, и над младенцем Павлом через забор, под который его ткнули, свешивались гибкие сучья берёзы; на них уже было много жёлтых листьев, и немало таких листьев лежало на земле вокруг младенца Павла, а порой – очень часто – они беззвучно отрывались и медленно падали на землю, раздумчиво кружась в воздухе, влажном и полном густых испарений, – днём шёл дождь, а к вечеру взошло солнце и успело сильно согреть землю.

Иногда листья падали и на красную рожицу младенца Павла, еле видную в густой бахроме лохмотьев, в которые его плотно завернула заботливая рука матери; младенец Павел от этого морщился, моргал глазами и возился до той поры, пока лохмотья не развернулись, и не открыли его маленькое тельце влиянию ночной сырости. Тогда он, почувствовав себя свободным от пут костюма, поднял ногу, потащил её в рот и стал сосать, всё ещё молча, но с очевидным удовольствием.

Маленькая оговорка, если позволите! О поведении младенца Павла во время жития его под забором я говорю a priori, сам я сему свидетелем не был; это видело только небо, тёмное августовское небо, прекрасное, глубокое, щедро усыпанное золотыми звёздами и, как всегда, холодно равнодушное к делам земли, несмотря на то, что она так много льстит

ему устами своих поэтов и так горячо молится сердцами верующих людей.

Если бы я видел его, младенца Павла, там, под забором, то я, конечно, преисполнился бы горячим негодованием к его родителям, глубоким состраданием лично к нему и, немедленно позвав полицию, отправился бы домой с чувством искреннего уважения к себе; всё это, несомненно, сделал бы и всякий другой на моём месте, сделал бы, я твёрдо верю в это. Но в то время там никого не было, и, таким образом, жители того города, в котором происходило описываемое мною, упустили очень удобный случай проявить свои лучшие чувства, каковое проявление, как известно, составляло бы преобладающее и любимое занятие людей, если бы с ним не конкурировало так успешно нечто, прямо противоположное ему.

Но в то время там никого не было, и младенец Павел, наконец, иззяб. Он выпустил изо рта ногу и стал нарушать тишину ночи сначала тихими всхлипываниями, потом громким плачем.

Ему не пришлось заниматься этим особенно долго, через полчаса к нему подошёл человек, плотно закутанный во что-то, делавшее его похожим на большой двигающийся пень, – подошёл, наклонился и густо прогудел над ним «ах, подлые», ожесточённо плюнул в сторону и, подняв его с земли, стал закутывать в тряпки и осторожно, поскольку мог, водворять себе за пазуху, одновременно с этим оглашая воздух пронзительным, рокочущим свистом, который совершенно погло-

щал плач младенца Павла.

– Ище, ваше благородие, одного подшвырнули, дьяволы! Теперича третий будет за лето-то. И анафемы только! Блудят, блудят и… опять блудят. Тьфу вам!

Это был ночной сторож Клим Вислов, человек строгой нравственности, что, впрочем, не мешало ему быть горчайшим пьяницей и горячим приверженцем трёхэтажной эрудиции.

– Тащи его в часть!

Это приказание было дано околоточным надзирателем Карпенко, первым донжуаном в третьей части города, имевшим рыжие усы в стрелку и неотразимые серые глаза, которыми он в кратчайший срок мог испепелить сердце любой барышни, – и это приказание относилось к будочнику Арефию Гиблому, человеку мрачному, сутулому, любителю одиночества, книжек и певчих птиц и страшному ненавистнику многословия, извозчиков и женщин.

Он взял младенца Павла на руки и понёс было его, но вдруг остановился, развернул тряпки, закрывавшие ему лицо, несколько мгновений посмотрел на него, ткнул своим пальцем в пухлую щёчку ребёнка и, наклонившись к нему, скорчил страшную рожу и щёлкнул языком.

Младенец Павел, снова молчаливо сосавший сунутую ему в рот жвачку, не поинтересовался разобрать, какие именно чувства желал выразить Арефий Гиблый своими странными манипуляциями, и ответил на них только тем, что поднял

брови, чем не выразил ясно и понятно ничего определённого.

Тогда Арефий Гиблый улыбнулся так, что у него усы вскочили на нос, а громадная и густая чёрная борода тряхнулась и отодвинулась к ушам, – и громко на всю улицу спросил младенца Павла: «Штука ты? У?!.», на что тот утвердительно кивнул головой и нечто промычал.

– Тча-а! Уффы!.. Крю-крю-крю! Гур-бур!.. – как слон, заворковал Арефий Гиблый и, присев на тумбочку рядом с фонарём, чего-то ожидая, уставился в лицо младенца Павла.

Тот недоумевал, не понимая жаргона Арефия, и несколько раз отрицательно качнул головой, не выпуская изо рта соски и равнодушно поводя бровями.

Тогда Арефий густо расхохотался.

– Не хочешь, значит? Ах ты… комар!

Но тут «комар», очевидно, убеждённый, что ему ничего не предлагали, разинул рот и широко раскрыл глаза – от недоумения или оттого, что он стал давиться соской.

Арефий торопливо дёрнул соску вон и затем озабоченно и пристально всмотрелся в лицо ребёнка, как бы желая убедить себя в том, что не разорвал ему рот.

Младенец Павел кашлял.

– Чши-и… чши и-и… – зашипел Арефий Гиблый, как локомотив, выпускающий пары, и стал размахивать ребёнком по воздуху в глубоком убеждении, что этот маневр остановит кашель. Но ребёнок кашлял всё громче.

– Эх ты, братец ты мой! – сокрушённо вздохнул Арефий и беспомощно оглянулся вокруг.

Улица спала. По обеим сторонам её мерцали редкие фонари; вдали они, казалось, стоят плотнее друг к другу, почти рядом, но улица там была темней и точно упиралась в какую-то чёрную стену, возвышавшуюся чуть не до небес, распростёртых над ней и улыбавшихся ей живыми, трепещущими лучами своих ярких звёзд.

Арефий посмотрел в противоположную сторону.

Там был город, масса тёмных, надвинутых одно на другое зданий и тоже бедные, но более частые огоньки фонарей, редкий, чуть слышный шум, который рождался и умирал лениво-равнодушно.

После этого осмотра Арефию сделалось как-то особенно тошно; он плотней прижал к своей грубой суконной груди младенца Павла, который теперь прокашлялся и собирался реветь, – прижал и глубоко вздохнул, посмотрев в отдалённые небеса.

– Пакость!..

Резюмировав столь красноречиво всё происшедшее, он встал с тумбочки и пошёл по улице к городу, потряхивая ребёнка на руках и стараясь делать это возможно более ровно и осторожно. Шёл он, поворачивая из улицы в улицу, долго и, очевидно, весь путь был отягчаем какими-то особыми, необыденными думами, потому что не заметил, как улицы то суживались, то расширялись, перерезывали одна другую,

извивались – и вдруг вывели его на площадь. Но он и площадь заметил только тогда, когда очутился перед фонтаном с двумя фонарями по бокам его. Этот фонтан стоял среди площади, и Арефий уже прошёл часть.

Выругавшись про себя, он поворотил назад. Луч от фонаря через его плечо упал на личико младенца Павла, плотно прижатое к серому сукну его шинели.

– Спит! – прошептал Арефий и, не отрывая глаз от лица ребёнка, почувствовал у себя в горле неприятное щекотание. Чтоб избавиться от этого ощущения, он высморкался негромко и задумался о том, что, пожалуй, было бы лучше, кабы дети с первых дней жизни могли вникать в безалаберную премудрость её. Будь это так, будущий человек на его руках не спал бы так крепко, а, наверно, кричал бы во всю мочь.

Арефий Гиблый, как полицейский и пожилой человек, жизнь знал и знал, что коли не заявить о себе хотя бы криком, так на тебя даже полиция внимания не обратит.

А если ты не сумел обратить на себя чьего-либо внимания, то погиб, ибо одному в жизни долго не устоять. Этот легкомысленный и покойный ребёнок погибнет, ибо он спит.

– Эх ты, братец! – укоризненно произнёс Арефий, входя под своды части.

– Ты откуда? – спросил его серый собрат, вдруг появляясь перед ним.

– С поста.

– Это чего? – ткнул тот пальцем в бок младенца Павла и сладко зевнул.

– Тише ты, чёрт! ище ребёнок.

– Ишь их, дьяволиц, порет!

– Дежурный кто?

– Гоголев.

– Спит?

– Дрыхнет!

– А тётка Марья тоже дрыхнет?

– И она спит. Чего же ей не спать?

– У-гу! Это верно!.. – протянул Арефий Гиблый и задумался, не двигаясь с места.

– Скоро сменюсь я и тоже спать! – заметил собрат и хотел уйти.

– Погоди-ка, Михайло! – дёрнул его за рукав Арефий свободной рукой и вдруг почему-то конфиденциально зашептал: – Ежели его теперь к тётке Марье, ты как?

– Больно ей нужно! – скептически усмехнулся Михайло, заглянув в лицо спокойно спавшего младенца Павла. – Свои, брат, хуже горькой редьки надоели.

– Да ведь только на одну ночь! – убедительно заявил Арефий.

– Да мне что ж? только она, уж верно, пошлёт к чёрту. Давай ин понесу.

Арефий осторожно перевалил младенца Павла с рук на руки Михаилу и на цыпочках пошёл за ним по коридору,

внимательно заглядывая в лицо спящего младенца через плечо товарища и удерживая дыхание, между тем как тот во всю мочь громыхал своими тяжёлыми сапогами по каменному полу коридора. Они подошли к двери.

– Ну, я подожду! – шёпотом заявил Арефий.

Его товарищ отворил дверь и скрылся за ней.

Арефий стоял и чувствовал некоторое томительное беспокойство, от которого его не избавляло ни вырывание ниток из обшлага шинели, ни усиленное разглаживание бороды, ни тем паче ковыряние стенной штукатурки пальцем.

За дверью слышалось глухое ворчанье.

– Обругалась, а взяла! – отворяя дверь, произнёс Михайло и почему-то изобразил на своём бритом лице торжество победителя.

– Ну вот! – свободно вздохнул Арефий Гиблый и направился с товарищем к выходу.

– Прощай, брат! иду на пост.

– Валяй! – равнодушно ответил Михаиле и ткнулся в угол, шурша каким-то сеном, очевидно, приготовляя себе ложе.

Арефий медленно шагнул с первой ступеньки на вторую, а когда опустил ногу на третью, то почувствовал, что ноги у него как бы прилипали к каменным плитам.

Так простоял он несколько минут, и, наконец, в коридоре, скудно освещённом керосиновой лампой, произошёл следующий диалог:

– Михайло?!

– Ну, ещё что?

– Ты его завтра сдашь?

– Ребёнка, что ли? Ну, конечно, сдам.

– В родильный?

– Нет, в кузницу.

Наступила пауза. Михайло в глубине коридора шуршал сеном и ёрзал по полу сапогами. Арефий смотрел на сонный город, развернувшийся перед его глазами. Ночная тьма спаяла все дома один с другим в серую плотную стену, и тёмные линии улиц казались глубокими брешами в ней. Вон там, в том конце города, налево, находится родильный дом. Это очень большое каменное здание, холодно белое, строгой физиономии, с большими равнодушными и пустыми окнами без цветов, без гардин…

– Умрёт он там! – буркнул Арефий.

– Ребёнок-то? Наверно, умрёт. Они там редко не умирают, потому – чистота, порядок…

Но тут Михайло, врасплох захваченный сном, звучно всхрапнул и оставил своё мнение о гибельности чистоты и порядка для чистых младенческих душ без подтверждения и объяснения.

Арефий Гиблый постоял ещё немного и отправился на свой пост.

Он пришёл туда, когда уже ночь побледнела и воздух посвежел от близости утра. Его будка помещалась почти в поле и теперь показалась ему более одинокой и отдалённой от

всего, чем казалась ему раньше. Но раньше это не рождало в нём никаких особенных дум и ощущений, а сегодня – родило. Он сел на скамейку перед дверью в будку. Вокруг скамейки разрослись уродливые кусты бузины, и его серая, сутулая фигура слилась с их тёмным фоном.

Он думал. Это были тяжёлые, неповоротливые думы, и много нужно было времени, чтоб они, наконец, оттиснулись в голове Арефия в форму вопроса: имеют ли люди право родить детей, коли не могут вывести их в люди?

Арефий Гиблый чуть не свихнул себе мозгов, когда, наконец, разрешил этот вопрос суровым и тяжёлым «нет, не имеют!» Тогда ему стало легче, он глубоко вздохнул и, погрозив в пространство кулаком, сквозь зубы произнёс:

– Анафемы подлые!

Всходило солнце, и его первые лучи, ударяя в окна будки, отражались на их стёклах огненным золотом, отчего эти два окна казались громадными смеющимися глазами странного чудовища с острой, зелёной головой, вылезавшего из земли посмотреть на свет божий, причём кусты бузины, всползавшие на крышу, можно было принять за растрёпанные кудри, а щели над дверью будки – за морщины на весёлом, улыбавшемся челе чудовища.

В двенадцать часов дня он сидел у тётки Марьи, женщины с резкими чертами лица, с зелёными глазами, в грязном платье с высоко подоткнутым подолом и с засученными рукава-

ми. Каждое её движение было целой поэмой боевой жизненной энергии.

Арефий Гиблый имел много сказать ей, очень много и, с непривычки к этому, чувствовал себя весьма нелепо. Движения тётки Марьи, ровные и спокойные, подавляли его своей самоуверенностью и силой, но его женоненавистничество пробивалось всё-таки наружу, отражаясь в угрюмых взглядах на широкое Марьино лицо и в солидных плевках на пол.

Младенец Павел валялся на лавке в куче тряпья, заставленный соломенным стулом, и был углублён в гимнастические упражнения, улавливая свою ногу руками и потом стараясь втащить её в рот. Красная, пухлая нога не слушалась, и младенец Павел, очевидно, не претендуя на неё, испускал одобрительные звуки.

– Ну, ты, антихрист! чего же думаешь делать теперь с ним? – заговорила Марья, садясь на стул против Арефия и отирая лицо фартуком. – Я не могу, не возьму. Отдай старухе Китаевой, она тебе за два рубля воспитает. Ребёнок здоровый, ему боле месяца уж. Покойный. Ей и отдай.

– А ежели уморит?

– Уморит! Чучело огородное! Чего она его будет морить-то? – дразнилась Марья.

– Чего?.. Баба, ну и…

– И фараон ты бессловесный! Снесу я его к ней, и всё. Вот, мол, тайный сын номера 71-го. Ха! ха! ха!.. Глупый ты пень. Уморит! али ребят-то не бабы нянчат, а вот такие шайтаны,

как ты? баба!.. В бабе-то вся сила и есть! Кто вас, чертогонов, на ноги-то ставит? У… гарниза тупоголовая!.. говорит ещё про чего-то!

– Ну, а ты всё-таки не того… не лай! – резонно заметил Арефий, стараясь не встречаться с глазами тётки Марьи, смотревшими на него сегодня как-то особенно внимательно и зорко.

– Ещё чего? Карахтер не переменить ли мне для тебя ради? Ска-ажите! Фря какая! Ежели у меня такой строгий разговор, то и быть ему таким до смерти моей.

Али с вами иначе как можно? Ещё дуть вас нужно бы ежечасно!

– Да ладно… Толкуй о деле.

Арефий ощущал непреодолимую потребность обругать елико возможно крепче задорную бабу и, борясь с этой потребностью, чувствовал себя всё более тяжко.

– Толкуй скорей, что мне сделать, да и уйду я. Мочи нет слушать тебя.

– Ах, какие мы нежные! Балда ты, балда!

И, наконец, после долгой речи, которой она, должно быть, исчерпала весь свой боевой задор и лексикон нелестных эпитетов, не переставая суетиться по тесной комнате, одновременно стряпая, что-то ушивая, кормя то того, то другого из ребят, рассованных ею на печку, за печку, за полог постели, покрикивая в окно на кур и снова возвращаясь к ребятам, то и дело высовывавшим головы и подававшим голоса из раз-

ных углов, – Марья встала, уперев руки в бока, перед Арефием и отчитала ему:

– Теперь иди ты прежде всего к частному и скажи: так и так, мол; ребёнка беру себе. Потом принеси мне два рубля, за месяц вперёд отдам Китаевой старухе, да с рубль кое на что, на рубашонки, на свивальники… ну, и другое. А потом – пошёл в болото! надоел, как кикимора!

Арефий поднялся, глубоко вздохнул и молча вышел.

Вечером к тётке Марье пришла старуха Китаева. Она была крива на левый глаз, имела лицо, весьма похожее и цветом и формой на дряблую редьку, её подбородок украшался маленькой седой эспаньолкой, она говорила скрипучим, тонким голосом и через два слова в третье беспокоила того или другого из угодников божьих, кстати и некстати призывая его то в свидетели правдивости своих слов, то прямо так, без всякой видимой причины.

Тётка Марья сурово и сухо изложила ей обстоятельства дела, дала несколько инструкций и заключила всё это внушительной фразой:

– Да смотри же у меня!.. Знай край, да не падай! – и при этом погрозила старухе Китаевой пальцем.

А старуха Китаева сжалась в маленький комок, низко кланяясь тётке Марье, и, рабски осклабясь, тихонько так, чуть не шёпотом и с некоторым восторгом от сознания собственного унижения, заявила:

– Тимофевна, мать родная! Али вы меня не знаете? Для

кого как, а уж для вас… – и тут она покрутила головой, как бы не имея сил выразить всё то, на что она способна.

– То-то, что знаю я тебя, старушка божия! Н-да!..

Это было сказано многозначительно и далеко не лестным тоном для божьей старушки.

Младенец Павел всё молчал, лёжа на лавке. Он только тогда неодобрительно промычал что-то, когда старуха Китаева взяла его на руки, предварительно прошептав благоговейно «господи, благослови!» – а потом снова умолк, полный непонятного равнодушия к своей судьбе, и молчал уже всё время, пока не был вынесен на улицу. Здесь прямо в глаза ему ударило солнце, он зажмурился; но и это мало помогло. Тогда он замотал головой; но и это не помогло; солнце било в глаза и жгло тонкую кожицу щёк. Он заревел.

– Ишь, пострелёнок! Там молчал, смирным притворялся, а чуть вынесла, так и заныл. Ну, лежи!

Старуха Китаева перекинула его с руки на руку и пошла дальше, думая про себя, что вот и ещё одного взяла; теперь стало пятеро. Маеты с ними много, а польза только та, что хоть досыта и не наешься, но и с голода не умрёшь.

Последние дни и ночи её жизни все сплошь истекают под аккомпанемент пяти вечно орущих от голода глоток, и нет ей ни минутки покоя и отдыха… О господи!..

Сквозь тусклые, позеленевшие от старости, побитые и узорчато заклеенные замазкой стёкла окон в апартаменты старухи Китаевой падают косые лучи солнца, и кажется, что

они сморщились и побледнели от густого запаха аммониака, наполнявшего две низенькие комнаты с закопчёнными потолками, ободранными обоями и грязным, скрипучим и украшенным большими щелями полом.

Убранство первой комнаты, именуемой детской, – по-спартански просто: три длинные и широкие скамьи, застланные какой-то рванью, и больше ничего, а грязно так, что даже мухи, очевидно, не в силах обитать среди такой грязи, ибо, покружившись немного в пахучей атмосфере детской, они, обескураженные, быстро и с протестующим жужжанием вылетают в другую комнату или в сени через отворённую дверь, обитую чем-то, имеющим отдалённое сходство с тёмно-зелёной клеёнкой.

Другая комната отделялась от детской глухой дощатой переборкой с маленькой криво прорезанной дверью; прямо против двери стоял стол и на нём самовар, всегда ипохондрически шипевший и ворчавший, зелёный, пораненный во многих местах, инвалидно искривлённый набок и, как нельзя больше, гармонировавший с общим убожеством помещения старухи Китаевой.

В обеих комнатах никого нет и ничего, кроме разочарованного жужжания мух да воркотни самовара, не слышно. Но впечатление необитаемости пропадает, если взглянуть в тёмный угол к двери: там на лавке в куче грязных тряпок копошится нечто живое.

Видна нога, искривлённая в дугу и поднятая на воздух, и,

внимательно прислушавшись, можно разобрать еле слышное монотонное бормотанье.

Собственник этой ноги и ещё одной, такой же кривой, сухой и зелёной, – полуторагодовалый ребёнок, рахитик Хрен, названный так старухой Китаевой в момент раздражения против него. Она всех своих питомцев снабжала более или менее остроумными и меткими прозвищами. Прозвище Хрен как нельзя более шло к маленькому рахитику, старчески сморщенному, дряблому, фантастично искривленному болезнью, с маленьким сморщенным лицом, на котором застыло неизменное выражение горького недоумения, точно он пытался догадаться, кто и зачем это над ним подшутил так зло и жестоко, создав его на свет божий калекой, пытался догадаться об этом и, убеждаясь в тщете таких попыток, вечно болел душой.

Он целые дни лежал тут в углу и, поднимая вверх то ту, то другую из своих кривых ног, пристально и долго рассматривал их глубокими глазами с тем поразительно сосредоточенным и грустно-серьёзным выражением в них, которое так часто сияет во взгляде больных детей, – рассматривал их и тихо-тихо бормотал что-то бледными, бескровными губами, открывавшими беззубые дёсны и покрытый жёлтым налётом маленький язык. Руки у него были сведены в кольца, и кисти их упирались в подмышки, он совершенно не двигал ими; ноги по колена были здоровы, а от колен дугообразно изгибались внутрь, перекрещиваясь у щиколоток. Иногда изу-

чение своих ног, очевидно, надоедало ему, и он всё с тем же неизменным выражением горького недоумения подымал свои глаза на потолок, где дрожало солнечное пятно от одного из смотревших в окно лучей, отражённого ушатом с водой, стоявшим у порога. Но, очевидно, предчувствуя, что близкое знакомство с солнечными лучами ему не нужно и что всё, что есть на земле, скоро исчезнет для него вместе с его способностью видеть и думать, вместе со всем им, бедным, дряблым Хреном, которому в близком будущем предстоит переселиться с земли в землю, – он отводил свои серьёзные глаза от потолка и снова устремлял их на ноги, которые, очевидно, интересовали его больше, чем всё остальное.

Он жил у старухи Китаевой вот уж девятнадцатый месяц, а она получила деньги за его воспитание только за два месяца и с большим нетерпением ждала, когда он «опростает квартиру», как иносказательно она выражалась.

Она ходила однажды на квартиру его матери, маленькой, анемичной и сутулой девушки-швейки, и нашла её еле живой, лежащей на койке.

– Что же, матушка, – сказала старуха Китаева, садясь на койку, на которой та лежала, почти не двигаясь, – родить-то родила, а кормить сила не взяла? Непорядок!

Не обязалась ведь я ваши-то грехи на своём горбу носить. Денежки пожалуй, а то ребёнка бери, я ведь не благодетельница какая-нибудь.

Мать широко открыла свои голубые тусклые глаза, и в них

выразилось много скорби и ужаса.

– Бабушка! – сдавленным шёпотом заговорила она, – заплачу! Всё до копейки, до гроша заплачу! С живой сдеру с себя шкуру, продам и заплачу! В проститутки пойду!..

Потерпи!.. Потерпи, милая! По-ожалей меня него, бедного мальчика… а… а… а… пожалей!..

Старуха Китаева слушала её стоны, смотрела, как по впалым, иссохшим щекам катились крупные слёзы и как нервно, часто подымается впалая грудь матери горького Хрена.

– Ах вы, девки, девки! Блудни девки! Драть бы вас надо крепко, да! – внушительно проговорила она.

– Бабушка, эх!.. Любил ведь, жениться хотел!..

– Ну, это, матушка моя, песня старая. Слыхала я её раз тыщу.

Но старуха Китаева, видно, не только слыхала, а и сама певала эту песню, ибо невероятно сморщилась, согнулась, закашлялась, подумала и, поцеловав больную, ушла, строго наказав ей выздоравливать. Но та не послушалась её и вскоре умерла, а Хрен остался на попечении старухи Китаевой и вскоре надоел ей. Тогда она отвела ему в пожизненное пользование угол и, утешаясь тем, что долго он всё равно не протянет, успокоилась, поскольку могла.

Кроме Хрена, было ещё четверо ребят. За троих платили аккуратно, четвёртый собирал милостыню и сам с избытком оплачивал расходы на своё содержание. Это был шестилетний круглый, пухлый и розовый мальчуган Гурька Мяч, от-

чаянный озорник и большой фаворит Китаевой.

– Вор ты будешь первостепенный, Гурька! – похваливала она его вечерами, когда он, возвращаясь «с мира», выкладывал из котомки, вместе с кусками хлеба, конфорки от самоваров, дверные ручки, гири, детские игрушки, подсвечники, маленькие сковородки и прочую мелочь.

Гурька весело взглядывал на неё бойкими серыми глазёнками и подтверждал с полной уверенностью:

– Ух какой!.. Всё буду воровать – и лошадей!

– А как тебя усибирят будочники? а? – ласково спрашивала Китаева.

– А я убегу! – не затруднялся Гурька.

Тогда старуха Китаева давала ему на лакомства семишник и отпускала гулять.

Остальные трое, в числе которых был и Панька, ничем особенно не отличались друг от друга и пока ещё не успели нажить себе каких-либо определённых индивидуальных черт. Все они трое очень громко кричали, если их не кормили долго; то же они делали, если их окармливали; они кричали и тогда, когда их забывали напоить, и тогда, когда им в глотки насильно вливали воду. Кричали они и ещё по многим причинам, но никогда эти причины, и все вместе, и тем более каждая порознь, не казались старухе Китаевой достаточно уважительными, и она кричала на ребят гораздо усерднее, чем все они.

В общем, это были очень беспокойные ребята, требовав-

шие каждый день пищи, питья, сухих пелёнок, воздуха и прочих вещей, на которые они едва ли ещё могли иметь право, ибо ведь ещё не жили, а только собирались жить. Придерживаясь такой утилитарной точки зрения, старуха Китаева не очень ублажала их, очевидно, желая, чтоб они были более самостоятельны и умели сами себе добывать всё нужное для покоя тела и души.

День у старухи Китаевой начинался так: Первым из пятерых просыпался Гурька Мяч, спавший в комнате старухи Китаевой, отдельно от четырёх его совоспитанников. Просыпаясь, он тотчас же соскакивал с своей кроватки, сделанной из ящиков, и, порывшись у себя под подушкой, вытаскивал оттуда длинное петушиное перо.

С ним он на цыпочках пробирался в детскую, осторожно, без скрипа отворял дверь и, так же осторожно ступая по полу, – который летом, высыхая, издавал ноющие звуки, а зимой глухо стукал половицей о половицу, – прокрадывался к одному из ребят, обыкновенно ещё спавших. Склонясь над ним, он начинал щекотать ему пером в носу.

Ребёнок вертел головой из стороны в сторону, потом смешно морщился и тёр нос кулачками, а Гурька, еле удерживаясь от смеха, надутый, как пузырь, и красный, продолжал своё весёлое дело. Наконец ребёнок просыпался и начинал орать благим матом, вскоре другой и третий ему дружно вторили и подтягивали, а Гурька кричал во всю мочь «бабушка» и, бегая от одного к другому, шипел над ними по-

змеиному, строил им рожи, дул им в ноздри холодным воздухом и вообще забавлялся как бог на душу положит.

Подымался диковинный по силе и отсутствию гармонии концерт. Ребята кашляли, чихали, выли, захлёбывались и кричали, кричали так, точно их жарили на сковороде.

К серьёзному Хрену, уже принявшемуся за исследование своих уродливых ног, Гурька никогда не подходил, он боялся его сосредоточенно вдумчивых глаз. Раз как-то, когда Гурька подошёл к нему с намерением включить и его в круг своих операций, эти глаза остановились на лице Гурьки с таким выражением, точно это смотрел не ребёнок, а один из полицейских, которых Гурька по многим причинам не мог любить и всегда, при встрече с ними, почтительно сторонился. Гурька убежал и больше не подступался к рахитику.

– Ох-хо-хо!.. Завыли!.. заканючили!.. заскрипели!.. Дуй вас горой! – и проснувшаяся старуха Китаева припоминала некий нецензурный эпитет, произнося его во множественном числе и множество раз.

Гурька с серьёзной миной на роже входил и, надувшись пузырём, тащил со стола самовар в сени, где и начинал тотчас оглушительно греметь. Вообще этот весёлый малый любил производить шум, и чем грандиознее были размеры шума, тем счастливее он себя чувствовал.

Старуха Китаева нежно выбирала из-под ребят мокрые пелёнки.

– Ну, кикимора! Ори!.. Зевай!.. Гнуси!.. У, лягва болот-

ная!..

Дома она не произносила имён святых отцов и мучеников, считая самоё себя мученицей и потому не призывая никого себе в помощь.

Ребята верещали, Гурька гремел и стучал, старуха Китаева ругалась, а другие жильцы дома и соседи просыпались, ибо из всего этого шума безошибочно выводили, что уже шесть часов утра.

Шум и рёв продолжался часа два, пока старуха не успевала переменить пелёнки, обмыть и накормить ребят. Затем она пила чай. Гурька уже давно попил, схватил котомку, сочинил из неё себе колпак, надел на голову и убежал «по миру».

Попив чаю, старуха брала ребят и тащила их на двор, где сажала в ящики, доверху наполненные сухим и мелким песком. Там ребята пеклись на солнце часа три-четыре до обеда, а старуха Китаева в это время стирала пелёнки, шила, чинила, ругалась, кормила ребят и всячески «разрывалась на тыщу кусков», как она говаривала.

Иногда к ней заходила приятельница, две и три. Это были женщины разных возрастов и двух профессий: за одну сажали в тюрьму, а другая, рано или поздно, непременно приводила в больницу.

С приятельницами появлялась бутылочка, две и три; через некоторое время воздух и уши обитателей улицы резала жестокая песня об «изменщике-мерзавце» или о другой

ерунде в этом роде. Ещё через некоторое время раздавалась отборнейшая ругань, затем «караул!», а потом всякий, кто хотел, мог видеть, как старуху Китаеву приятельницы возят по земле за косы, или как старуха Китаева и одна из её приятельниц бьют вторую и третью, или вторая и третья усердно лупят их, – всё равно, результат драк всегда был сначала крепкий сон, а потом дружное примирение.

Ребята оставались бы во время всего этого одни и могли бы вполне свободно умереть с голода, предварительно разорвав себе криками лёгкие, но в момент, когда утомлённые боем воинствующие приятельницы и их подруга засыпали, в тёмном углу двора открывалась низенькая дверь вросшей в землю хибарки, и на свет божий являлась дородная, рябая женщина.

Она зевала, крестила рот, смотрела в небеса оловянными, ничего не выражавшими глазами и, подходя к одному из ящиков с песком, вытаскивала из него ребёнка. Затем грузно садилась в тот же песок и, медленно расстёгивая ворот платья, совала голову ребёнка себе за пазуху. Раздавалось жадное чмоканье.

На лице дородной женщины не отражалось ничего, что позволило бы наблюдателю вывести заключение о том, из каких побуждений она старается. Её лицо было рябо, очень рябо и очень тупо, вот всё, что было в её лице в этот момент.

Покормив одного, она переходила к другому, к третьему и, наконец, шла в комнату к рахитику Хрену. Тут происхо-

дило нечто весьма интересное. Она брала его на руки и несла сначала к окну. Ребёнок щурил глаза от падавшего в них солнечного света и повёртывал голову. Дородная женщина шла вон из комнаты на двор и, сев там на ящик с песком, предлагала ребёнку молока. Он брал грудь и немного сосал, лениво чмокая губами, а она гладила его по зеленоватой головке и щекам. Потом, когда он кончал пить, она сажала его в песок и глубоко закапывала в него изломанное тельце рахитика, так что наверху оставалась одна его голова.

Это, очевидно, доставляло удовольствие Хрену; его глаза блестели чем-то новым, свежим, и сосредоточенное их выражение точно исчезало на время. Тогда дородная женщина улыбалась, но улыбка ничуть не красила её рябого лица, а только делала его шире. Она долго возилась с ребёнком и, когда замечала, что, согретый песком и солнцем, он дремлет, брала его на руки и молча качала. Это ему нравилось, он улыбался сквозь дрёму, а она целовала его и несла туда, в комнату. Потом выходила вон, всё с тем же деревянным лицом смотрела на ребят в песке, иногда, если они не спали, играла с ними, снова кормила их и исчезала в маленькую дверь хибарки в углу двора. Оттуда она часто выглядывала, чуть-чуть приотворяя дверь, и если видела, что упоённая Китаева ещё спит, а на дворе уже вечер, то снова выходила, брала ребят и укладывала их спать.

Не подумайте, что я рисую добрую фею, о нет! Она ведь была ряба, у неё были громадные, отвислые груди, и ещё она

была нема. Это просто жена одного пьяницы-слесаря.

Однажды он стукнул её по голове кулаком и так неудачно, что она откусила себе пол-языка.

Сначала он был очень опечален этим, а потом стал звать её немым уродом. Вот и всё.

Так вот как жили воспитанники старухи Китаевой – летом, а зимой они жили только потому немного иначе, что сидели в песке не на дворе, а на печи. Песок старуха Китаева считала главным фактором в деле физического воспитания и строила всё его исключительно на песке.

Воспитание младенца Павла не отличалось ничем от воспитания его собратий.

Впрочем, иногда над ящиком с песком, в котором он сидел, склонялась большая, чёрная голова, и чёрные, глубокие глаза смотрели на него внимательно и долго.

Сначала Панька пугался этого явления, но постепенно привык к нему и даже настолько освоился с ним, что стал запускать свои ручонки в лохматую бороду, щекотавшую его, нимало не пугаясь, когда из этой бороды прямо перед его носом сверкали крупные белые зубы и раздавалось глухое урчание. Иногда его вытаскивали из песка две могучие руки и качали в воздухе, высоко подбрасывая его маленькое тельце. Младенец Павел жмурился и молчал от страха, а когда его переставали качать, он ревел во всё горло, а громадный чёрный человек, стоя перед ним, кричал:

– Эй, старуха! Али не слышишь?!

– Слышу, батюшка, слышу! – недовольно отзывалась Китаева и ползла откуда-нибудь к ним.

– Нишкни, о… о… о!.. Нишкни, миленький! У… у… у!.. а… а… а!..

– Ревут они у тебя… – гудел на дворе бас.

– Ревут, батюшка, ревут. Все ревут, все как есть! – звенел иронически дребезжащий фальцет.

– Это оттого, что грязно.

– Грязно, батюшка, грязно. Очень грязно.

Бас недоумевающе урчал, а фальцет с торжеством покашливал.

– Лучше-то как нельзя? – возрождался бас.

– Можно, можно. Лучше, много лучше можно! – убедительно и насмешливо вновь звенел фальцет.

– Так ты что же?! – как бы угрожая, гудел бас.

– А ничего, родной, как есть ничего. Старуха я старая, немощная, бедная, вот что. И всё тут. И ничего больше! – покорялся фальцет.

Наступала пауза.

– Пш… чш… пши… и… и… и!.. Спи… и… и!.. Спи… и… и!.. – шипело в воздухе.

– Ну, прощай. Смотри же! – спускался бас до октавы.

– Смотрю, батюшка, поглядываю, – тихо отзывался фальцет, и на этом разговор заменялся шумом удалявшихся тяжёлых шагов.

Спустя после описанного четыре года в будке Арефия Гиблого появился ребёнок Панька. Это было коротконогое и большеголовое существо, с исковерканным оспой лицом и тёмными, глубоко ушедшими в орбиты глазами.

Молчаливый и вечно разглядывавший что-то никому не видимое, ребёнок Панька не нарушал своим присутствием в будке одинокой, установившейся жизни будочника, успевшего за эти четыре года нажить себе серебряные жилки седин в бороде и на голове да ещё более угрюмости и любви к книжкам о жизни святых угодников.

Дни Паньки текли равномерно и покойно. Рано поутру его будили птицы, начинавшие свой громкий разговор с первым лучом солнца. Панька открывал глаза и подолгу смотрел из своей постельки за печкой, как они прыгали в клетках с жёрдочки на жёрдочку, плескались в воде, клевали семя и пели, кто как умел, пели опьяняюще, задорно, но далеко не красиво. Весёлое треньканье чижей, спутываясь с однообразным свистом щеглят и дополненное смешным скрипом важных снегирей, сливалось в странную, журчащую струю звуков, капризно бившуюся в маленькой, закопчённой и тесной комнатке. Был ещё скворец, хромой и молчаливый. Он один висел в большой проволочной клетке над окном и, уцепившись одной ногой за жердь, медленно покачивался из стороны в сторону, поворачивая голову то туда, то сюда, и вдруг испускал из горла тонкий, длинный свист, чем всегда приводил остальных птиц в молчаливое недоумение, продолжавшееся

с минуту. Птицы вдруг прерывали свой нескладный концерт и оглядывались кругом, как бы желая вникнуть в смысл этого странного свиста, а сосед скворца по клетке, генеральски солидный снегирь, вдруг приходил в какой-то злой раж и, надувшись, как мяч, с заершившимися красными перьями на груди, вытягивал голову по направлению к скворцу и как-то не по-птичьи начинал хрипеть, шипеть и биться в клетке, раскрывая тупой клюв и высовывая толстый язык.

Но скворец уже снова не обращал ни на что внимания, покачивался на жерди и философски поводил головой из стороны в сторону. Его неподвижная чёрная, монашеская фигура оживлялась только тогда, когда в клетку заползал таракан; но и тогда это оживление продолжалось не более двух-трёх секунд. Во всём поведении скворца и, главное, в его свисте было что-то скептическое, глубокое, отрезвлявшее других; этот свист раздавался среди голосов остальных птиц, точно веское слово умудрённого опытом старика в хору пылких речей не жившей и оптимистически настроенной молодёжи. Иногда он вдруг начинал прыгать в клетке, встряхивал крыльями, раскрывал клюв, ощипывался, принимал важную, устойчивую позу, но… не свистел, а снова погружался в философское молчание, как бы находя, что не пришло ещё время сделать то, что он хотел сделать, или как бы убедившись в том, что задуманное им деяние не может изменить существующего порядка вещей.

Паньке скворец нравился больше всех других птиц, пото-

му что он находил в нём много сходства с тятей Арефой. Тятя Арефа тоже любил скворца; он всегда у него первого чистил клетку и ему первому давал свежее семя и воду.

Панька лежал утром в постели до той поры, пока с улицы не являлся тятя Арефа.

Почему-то тятя Арефа не любил свою будку и большее время дня и ночи проводил вне её. Тятя Арефа осторожно приотворял дверь, просовывал в неё свою чёрную голову и спрашивал:

– Проснулся?

– Проснулся! – отвечал Панька.

Тогда тятя входил в будку и начинал ставить самовар. Самовар был очень стар, весь обляпан грубыми, тусклыми заплатами из олова и вместо одной ручки имел кусок лошадиной подковы, прикреплённый к его боку проволокой. Поставив самовар, Арефий принимался чистить клетки, мести пол, а когда самовар начинал тонко пищать, то командовал Паньке густым басом, более густым, чем он говорил обыкновенно, что происходило, очевидно, от желания сделать его мягче:

– Вставай, умывайся, молись богу!

Панька вставал, умывался, молился богу и делал всё это ровно, спокойно, как взрослый и как глубоко убеждённый в важности и необходимости всего этого, молча, с строго нахмуренной рожицей, и эта мина, вместе с встрёпанными волосами и серьёзно блиставшими глазами, делала его по-

хожим на маленького крота, крепко озабоченного предстоящим трудовым днём. Потом, когда он, умытый, причёсанный и под диктовку тяти Арефы прочитавший искусственно глухим голосом утреннюю молитву, садился за стол перед уморительно курлыкавшим самоваром, – он терял уже много дикой прелести и становился немного смешным в своей молчаливой важности.

Чай пили молча, и молча же проводилась большая часть дня. После чая Арефа стряпал, то есть зимой топил печь, наливал в горшок воды, сыпал туда овощи, клал кусок мяса и совал горшок в огонь прямо рукой, несмотря на то, что имел ухват, а летом разводил на дворике за будкой маленький костёрик, пёк в нём картофель или тоже варил что-нибудь, причём всё делал так, чтоб не заподозрить себя в заимствованиях от баб, с опасностью для своего здоровья отрицая необходимость употребления ухватов, скалок, мутовок и других благородных атрибутов женского труда.

Панька солидно похаживал около него, одетый в ситцевые клетчатые штанишки и красную кумачную рубашонку, пристально наблюдал за всем, что делает тятя Арефа, и изредка о чём-нибудь спрашивал его. Односложные, хмурые ответы не вызывали Паньку на продолжение разговора; он смотрел ещё некоторое время на возившегося в будке Арефия и потом уходил на улицу, сопровождаемый советом не ходить далеко.

Будка стояла на выезде из города и смотрела окнами в по-

ле, недалеко от неё разрезанное стальной полосой реки, за которой тянулось снова поле, зелёное и приветливое летом и холодно скучное зимой. Затем горизонт запирала стена леса, днём неподвижная, тёмная, молчаливая, а по вечерам, когда за неё опускалось солнце, разукрашенная его лучами в пурпур и золото.

Панька сходил к реке и, примостясь на камнях между кустов ивняка, бросал в воду щепки, смотрел, как они уплывают куда-то далеко, как на воде играет солнечный луч и ветер покрывает её весёлой рябью, и часто, убаюканный немолчным шорохом волн о берег, засыпал.

Арефий, если был дома, приходил за ним и звал домой обедать. Обедали, а потом Панька снова уходил к реке и до вечера играл там один или с нищенкой Тулькой, косоглазой и вороватой девочкой лет восьми, грязной, крикливой и очень не любимой Арефой, который всегда гонял её из будки, если она заходила туда.

Наступал вечер, и Панька, посмотрев, как садится солнце и лес, живой и красивый, мертвеет, окутываясь вечерними тенями, – шёл в будку и ложился спать, при Арефе – предварительно помолясь богу, а без него – не молясь и даже не раздеваясь.

Так текли дни один за другим, однообразные, молчаливые, и, как всегда это бывает с днями, они, цепляясь один за другой, создавали недели, месяцы, годы…

Панька рос, его дни становились полнее, он задумывал-

ся над тем, куда течёт река, и над тем, что скрыто там за лесом, почему облака, такие большие, свободно плавают в небе, а маленький камень, брошенный вверх, падает обратно на землю, что делается там в городе, где крыши столпились так плотно друг к другу, и за городом, и вообще на земле, такой шумной днём и так грустно спокойной ночью. Но с такими вопросами он не обращался к Арефе, может быть, полагая, что человек, который так много молчит, ничего не знает, и немного стесняемый как этим молчанием, так и постоянно хмурой миной на лице Арефия.

Зато, когда приходил Михайло, – это случалось редко, – Панька забивался в угол и из него всласть наслаждался человеческой речью. Михайло говорил много и всегда начинал с вопроса Арефию:

– Ну что, монах, – жив? Жениться не думаешь? – и хохотал, тогда как Арефий оставался глубоко равнодушен.

Но Михайла ничуть не обижало это равнодушие; он вытирал платком своё чисто выбритое лицо и, поудобнее усевшись на лавке, «заводил волынку», как в минуты раздражения выражался его угрюмый товарищ.

– Сегодня, братец ты мой, пообедал я здорово. Кашу мне Марья состряпала из полбы, ох, какая каша!.. на молоке и с изюмом. Э? Хорошо! Золотые у ней, у Марьи, руки насчёт стряпни. И насчёт всего иного. Пошить ли что, или что другое, всё может!

Ах, хорошая баба моя жена! Вот бы тебе такую, Арефа,

а? Такую бы?

– Лает, как собака! – коротко отзывался Арефий, возясь около самовара или уже сидя за столом и макая усы в блюдечко с чаем.

Михайло удивлённо приподнимал брови.

– Лает, говоришь? Так что же? Ну, лает, это, положим, верно. Но ведь без этого у мужчины с бабой невозможно, ни-ни! Потому каждый хочет себя господином чувствовать, а уступать никто не мастер. Я, к примеру, али я уступлю? Ни в жисть!

Сейчас что, – Ма-арья! А коли не берёт в резон, – раз в зубы…

– А она тебя два раз… – хладнокровно вставлял Арефий Гиблый.

– Два раз? Ну поло-ожим!.. А хошь бы и два раз? Али она мне не жена? Имеет право и два раз. Но только я не уступлю и тут. Я ей могу за это прописать такую таску…

– А она тебя отваляет скалкой, как запрошлый раз… – не уступал Арефий.

– Ска-алкой!.. Фу ты! Что она меня скалкой-то каждый день, что ли, дует?

Один раз всего и было это. Скалкой! Скажет уж тоже, как чёрт в бочку!..

Наступало молчание. Товарищи пили чай и поглядывали друг на друга.

– Ну, а как у тебя птицы? Живут?

– Смотри!..

– Вижу. Хорошо. Птицы – это великолепно. Вот и я себе заведу птиц…

– Жена-то зажарит их, – иронизировал Арефий.

– Никогда! Она сама любит птицу. Прошлый раз ещё гуся купила одного. И как купила!.. – вдруг оживляется Михайло. – Умная, шельма! Мужик – пьяный, сейчас она на него кричать: «Ты, говорит, пьяный, а я жена унтер-офицера, хочешь, говорит, мужа позову, полицейского – мужа. Он тебя в часть! Ага! Хочешь?» Мужик спьяну испугался да за три гривенника такого ей гуся продал, ух ты! Жулик такой, хитрый, важный, тяжёлый, ровно как наш частный! Нет, братец ты мой, жена у меня – клад. И кабы тебе такую найти, – святое дело! Она бы тебя взяла в руки, ух ты как! И не пикнул бы ты!

– Ну, а хорошего-то тут что? – осведомился Арефий.

– Хорошего тут-то что? Баба! Дух в доме иной, когда баба есть. Дети сейчас пойдут – это раз, чистота – это два, есть с кем поругаться и помириться – это три…

И начиналось бесконечное исчисление прекрасных бабьих качеств. У Михайла был какой-то особенный угол зрения, освещавший и недостатки баб как достоинства.

Бабы – это был его излюбленный конёк, впрочем, сильно конкурировавший с другим – едой. Бабы – это была для него альфа и омега бытия, цемент, связующий все явления жизни в одно стройное целое, сила, дающая всему тон, цвет и суть.

Он готов был говорить о бабах часа по три кряду в приподнятом, эпическом тоне, то и дело впадая в лиризм, наводивший на Арефия тоску. Арефий молчал и всё сгибался, точно пробуя залезть под стол от речей товарища, и когда, наконец, его терпение иссякало, он вставал и угрюмо рычал на Михайла:

– Отстань! Будет. Всю душу вытянул.

Этот окрик сокращал оратора, но не смущал его настолько, чтоб уж он совершенно замолчал. Нет, он некоторое время осматривался вокруг и «заводил волынку» снова:

– Печь надо выбелить. Какая же это печь? Фу-фу! мерзость одна. Вот кабы баба-то была…

Но Арефий угрюмо кашлял и внушительно двигал ногой или рукой.

– Не сердись, братец мой! Погоди, сам захочешь. Нестаточное дело, чтоб человек, такой, как ты, жил без употребления…

– Мишка! брось! – стучал кулаком по столу Арефий.

– Ну-ну, не буду, чёрт с тобой!

Несколько минут молчания.

– А пойду я домой! Скоро на дежурство мне. Чай, поди, ждёт Марья-то. Ужин у нас сегодня, их ты какой! Сычуг с гречной кашей и свиным салом… Сок один. Куснёшь, так и брызнет! Ух!.. Вот и ешь ты погано. Какая это еда? А кабы была у тебя… ну, не буду, не буду, молчу… Иду уж я, иду. Прощай, пошёл уж я. Приходи как ни то ко мне. А где

ж Панька? Панька, чертёнок, ты тут где? Нет, видно. Как он, Панька-то, здоров? Чай, всё на улице живёт? Вот тоже и Панькина жизнь, – какая жизнь? А ежели бы баба-то была…

И, наконец, он уходил, сопровождаемый недовольным урчанием Арефия, который долго после его посещения чувствовал себя угнетённым и как бы обвеянным неприятной ему струёй воздуха.

Разговоры Михайла очень редко варьировались, и скоро Панька почти научился предугадывать конец каждой его фразы, слыша её первое слово. Ему не нравилось бритое, лоснившееся от жира лицо Михайла, с мутными глазами, похожими на две оловянные пуговицы, не нравился и голос, самодовольно басовитый, и вся топорная фигура Михаила с короткими ногами и руками и с четырёхугольной, гладко остриженной головой. Наблюдая за ним и за отношением к нему Арефия, Панька дошёл до прямой неприязни к эпикурейцу и стал избегать его, за что и получил прозвище «волчонка». Тятя Арефа, в сравнении с товарищем, был красавец, несмотря на то, что чёрная борода, мощная фигура и сосредоточенное молчание делали его страшным в глазах Паньки.

Из разговора двух друзей Панька не мог много вынести для себя, но всегда становился на сторону молчавшего Арефия и не доверял многоречивому Михаилу. Отношения Арефы к бабам он постепенно перенимал и даже пытался их демонстрировать над Тулькой, которую это сначала удиви-

ло, потом рассердило, и в результате однажды Панька явился домой с расцарапанной рожицей и с тайным уважением к женщине.

Арефий спросил его коротко и очень густым басом:

– Это что?

– Упал… об щепки… – ответил Панька и покраснел.

– Ишь… – неопределённо заявил Арефий и посоветовал ему умыться.

А дни текли, и Панька рос.

Вот ему уже девятый год. Он невелик ростом, очень ряб, неуклюж, молчалив, и глаза его не по-детски холодны и разумны. Они с Арефием прекрасно понимают друг друга, и поэтому молчание каждого более или менее красноречиво говорит другому.

Панька учится грамоте у Арефия. Была сделана попытка ходить в приходское училище, но она окончилась печально. Панька не вытерпел более десяти дней отношения к себе товарищей по школе и на одиннадцатый, разбуженный Арефием словами «вставай, пора в школу», поднял голову с подушки и, пристально посмотрев в лицо Арефия воспалёнными от бессонной ночи глазами, проговорил первую со дня своего рождения длинную речь:

– Не пойду я больше туда, хоть утопи, хуже собаки паршивой я там. Только и зóву, что крапивник, подкидыш, рябой чёрт. Не пойду, как хошь. Дома я лучше буду.

Не люблю их я, никого не люблю. Всегда буду биться с ни-

ми. Третьего дня нос расквасил учителеву сыну, а учитель-то меня на колени – на час целый. Ещё расквашу, всем расквашу, ставь – на! А когда меня побьют, так ничего, я молчу и на колени никого не ставят.

Не пойду я больше, как хошь!

Арефий смотрел на рябое детское лицо, теперь ещё больше исковерканное злобой и негодованием, и молчал, а когда Панька кончил говорить и снова с упрямой и вызывающей миной ткнулся головой в подушку, он коротко, но так, что в окнах дрогнули стёкла, бухнул: «Не ходи!..» И при этом так внушительно посмотрел в ту сторону, где было училище, что Панька дрогнул и закутал голову в одеяло.

Больше о школе не подымалось речи, и учение пошло с грехом пополам дома.

Панька учиться не любил и садился за книжки, как за трудную и неприятную работу, а Арефий, преподавая ему грамоту, не мог, несмотря на своё желание, оживить мёртвые буквы и слова.

Каждый день после чая Панька с хмурым лицом снимал с полки книжки, садился за стол, опёршись локтями о колена, ущемлял свою голову в ладони и начинал качаться взад и вперёд, вправо и влево, при этом бормоча что-то очень неясное и далеко не музыкальное.

Единственным результатом этих приёмов было то, что птицы в клетках сначала умолкали и беспокойно переглядывались друг с другом, а потом вдруг, по сигналу одного

задорного чижа, снова принимались свистеть и щебетать на разные лады, как бы обуреваемые злостным намерением выбить мальчика из тесной колеи научных занятий. Они в этом быстро успевали.

Панька отрывал голову от книг и начинал тихонько подсвистывать сначала одному чижу, хорошему певуну, потом некоторое время густым свистом дразнил снегирей, затем подзадоривал щеглят, скребя одним ножом по обуху другого, и, наконец, когда в будке подымался невероятный гам, он вставал на лавку и занимался со скворцом.

Это делалось так: в клетку просовывалась лучинка, и оной лучинкой скворец получал несколько щелчков по носу, что его всегда приводило в большое беспокойство.

Он очень нелепо прыгал на одной ноге по клетке, хлопая крыльями и стараясь поймать проклятую лучинку клювом. Редко он достигал этого и если достигал, то, потеребив её, снова погружался в скептическое молчание, из которого его уже не могла вывести лучинка, а не достигая, – оглашал будку своим свистом, который от времени приобретал всё больше и больше демонстративный характер.

На этом успокаивался Панька и снова садился за книги, но уже не смотрел в них, а смотрел прямо перед собой сквозь стену, и чем больше он упражнялся в этом, тем шире, глубже и осмысленнее становился его взгляд. О чём он думал, едва ли было понятно и ему самому. Есть думы без физиономий и форм; это не мешает им быть тяжёлыми и отравляю-

щими сердце преждевременным знанием тех сторон жизни, не знать которые было бы большим счастьем, если б не было трусостью и не делало людей глупыми.

И так, под неугомонное щебетанье птиц, Панька сидел часа по два. Потом приходил Арефий и спрашивал урок. Панька покойно усаживался на скамье и, туго нажимая пальцем на строки в книжке, выдавливал из них такие сентенции:

– Пы-лой пы-лят…

– Погоди! – останавливал его Арефа. – Должно быть не так это. – И, придвигая к себе книжку, шевелил губами. – Не так! Ну-ка, ещё читай.

– Пи-лой пы-лят, а иглой шьют.

– Ну… Пилой ведь написано… Что делают пилой?

– Пилой? – подымая глаза к потолку, соображал Панька. – Дрова пилят.

– Ну, вот видишь! а ты читаешь: пылят, чай, это иже, а не еры.

– Да тут не написано про дрова-то.

Арефий на некоторое время задумывался о том, куда давать дрова, мешающие уяснению научных сведений. Панька ёжился и заявлял:

– Я ведь знаю всё это. Иглой – шьют, топором – рубят, а пером пишут, а вот читать это не умею. Маленькие больно слова-то. И всё разные.

Арефий молча соображал; глядя в книжку, прочитывал наивнейшие фразы и то сомневался в их развивающем и по-

учающем значении, то удивлялся премудрости составителя книжки, который, по его мнению, подозревал Паньку в предположении, что пилой шьют, а иглой пилят.

В таком порядке и характере проходил час урока. Арефий задавал Паньке повторить зады и ещё «от этого места до этого», и затем оба, вспотевшие от научных трудов, садились обедать. После обеда Арефий ложился поспать, а Паньке наказывал поглядывать и «коли что», так сейчас же разбудить его.

Панька одевался и выходил на улицу. С улицей он жил далеко не дружно. Его молчаливый, угрюмый характер не привлекал к нему симпатии сверстников, а сам он, втайне завидуя их веселью и играм, не решался пойти им навстречу. Впрочем, было сделано несколько попыток завязать дружественные сношения, но все они кончались почему-то гомерическими драками и обоюдным озлоблением. Панька не умел увлекаться живой прелестью игр и ко всему относился слишком рассудочно и взросло, это производило на всех охлаждающее и неприятное впечатление. Его избегали наконец, он это чувствовал.

А однажды вышел такой случай: отправились в лес за грибами, и Панька, любивший лес, умягчавший его и навевавший своим меланхолическим шумом на его душу много тёплых и мягких дум, незаметно отбился от товарищей в сторону. Бродя между деревьев и пристально оглядывая землю, он мурлыкал песню, наслаждался тёплым и сочным запахом

перегнивших листьев, шорохом травы под ногами и бойкой жизнью букашек, муравьёв… Издали до него доносились голоса товарищей.

– А где ж подкидыш? – крикнул кто-то.

– Вот больно нужно! не потеряется, небойсь!

– Всегда надутый, как сыч или как будочник Арефий…

– А может, будочник и есть его отец?

И ребята звонко засмеялись.

Паньке стало холодно и темно от этих фраз. Он осторожно пошёл вон из леса, чувствуя себя обиженным; но скоро эта обида перешла в злость. Ему захотелось отомстить, и он чувствовал себя вправе сделать это.

Тогда, выйдя на опушку, он крикнул во весь голос тоном радости и интереса:

– Эй, братцы, айда скорей! Что я нашёл! – А когда к нему на голос выбежали двое, он бросился на них и, отколотив обоих, ушёл, сопровождаемый руганью и оскорблениями.

Всё время до самого города они шли в отдалении от него и ругались, смеялись над ним, боясь подойти ближе, ибо он был силён и вступать в открытый бой с ним было опасно, в чём им не раз приходилось убеждаться.

А Панька пришёл домой и тоскливо задумался о чём-то. Арефия не было дома, наступал вечер, в будке было темно и тихо. Тишину нарушали только зяблик и чиж, недавно приобретённые и ещё не успевшие обсидеться. Они привлекли внимание Паньки.

Он долго смотрел, как они прыгают в клетке, просовывают головы сквозь прутья, и вдруг, быстро вскочив на стул, снял клетку и, отворив дверцу, высунул её в открытое окно. Птицы быстро улетели. Панька даже не заметил, как это было; отвлечённый в сторону чем-то другим, он снова сел за стол и, положив голову на руки, снова задумался…

Пришёл Арефий.

– Выпустил я птиц-то, – встретил его Панька. Он сказал это вызывающим тоном, и взгляд его сверкал вызывающе.

Арефий посмотрел на стены, потом в лицо Паньки и коротко спросил:

– Зачем?

– Так! – всё с тем же выражением в тоне и глазах ответил Панька.

– Ну… твоё дело.

– А ты что ж не поругаешь меня? – задорно заявил Панька.

Арефий поднял брови и усы кверху и пристально посмотрел в лицо приёмыша.

– Разве я когда тебя ругал? – грустно изрёк он и стал гладить себя по колену ладонью.

– То-то что нет. А все ругают. Уж и ты бы, что ли, вальнул. Всё уж равно.

Арефий смущённо заёрзал по лавке. Панька смотрел на него совсем взрослым и очень злым человеком.

Воцарилось тяжёлое молчание. Даже птицы, казалось, присмирели и слушают, что будет дальше. Но дальше ниче-

го не следовало, кроме того разве, что Панька подобрал под себя ноги и опёрся спиной о стену.

Грязные, старые часы, с жёлтым, засиженным мухами циферблатом, отсчитывали секунды, однообразно капавшие в бездну вечности, и были, очевидно, страшно утомлены этой обязательной работой; лениво качавшийся маятник тихо и уныло взвизгивал, вызывая этим звуком у таракана, сидевшего на стене, насмешливые движения усами. Красный луч заходившего солнца пробился сквозь кусты бузины в окно будки и бросил на её пол светлые, колебавшиеся пятна.

– Выпустил птиц – это ничего. Ту птицу, которая бьётся в клетке, нужно выпустить, а если она привыкла, так и пусть её сидит, – это уж и не птица. Хорошую птицу всегда тянет на волю…

Панька поднял голову и посмотрел на Арефия.

– Это ты к чему? – спросил он.

– Так… ни к чему… Подумал, да и сказал… – смущённо ответил Арефий, теребя бороду и чувствуя себя в чём-то виноватым перед Панькой.

– Не сразу тоже скажешь так, как думаешь. Иной раз около своей-то мысли вертишься, вертишься, да и потеряешь её, вся в куски разорвётся… а что рассыпалось, того уж и нет.

– Ну? – внимательно вытягивая голову, вновь спросил Панька.

– Ну, и ничего. Уметь, мол, надо говорить-то. Давай-ка вот, Панок, почитаем житие Алексея божия человека.

– Давай!

Панька лёг на лавке, немного разочарованный Арефием, в словах которого он чувствовал что-то новое; да и самых слов было сказано в этот раз много, что тоже было новостью. Арефий снял с полки кучку истрёпанных книжек и, выбрав одну из них, положил её на стол перед собой, и несколько минут спустя в будке плавал его густой бас, становившийся ещё гуще по мере того, как возрастал интерес книги, и переходивший к концу её в дрожащую густую октаву. Панька любил в это время лежать с закрытыми глазами и иллюстрировать книжку разными картинами. Так, он представлял себе всех святых такими маленькими и худыми, с громадными, сурово сверкающими глазами; их мучителей – здоровенными мужиками в красных рубахах, с засученными рукавами и в сапогах со скрипом; царей, гонителей христиан, – коротконогими, толстыми господами, которым всегда страшно жарко, отчего они так и злятся. В основе его представлений лежали реальные лица: священник из монастыря, мясники-приказчики, жившие неподалёку, и частный пристав Гоголев. Панька брал самые выпуклые черты их характеров и физиономий и развивал их до того, что они совершенно теряли человеческое подобие и становились какими-то чудовищами, пугавшими своим безобразием самого создателя. Иногда скомпонованные им картины наводили на него ужас. Он открывал глаза и испуганно оглядывал будку.

Прямо перед ним торчала громадная, лохматая голова

Арефия, от неё на стену падала громадная, фантастическая тень, и вся будка была заполнена басистым гулом, из которого густыми, могучими вздохами иногда вырывались отдельные слова и фразы. Панька ловил их и не понимал, как могли из этих простых слов создаваться такие страшные картины мучений подвижничества и почему он, слушая эти слова, может видеть то, о чём они говорят. Он задумывался и снова терял нить истории… И, поглощённый своими думами, он так и засыпал тут на лавке, против Арефия, увлечённого книжкой до полного забвения всего происходящего вокруг. Арефий, когда дочитывал книгу, долго ещё не подымал от неё головы, как бы читая что-то и на пустой странице обложки, а потом вздыхал полной грудью, оглядывался, вставал и, подходя к Паньке, с массой предосторожностей брал его на руки, относил в постельку за печкой и, перекрестив, выходил на лавочку к будке.

Там он долго и внимательно смотрел на реку, на тёмную стену леса и в небо, усеянное звёздами; прислушивался к утихавшему шуму города и, подозрительно поглядывая на проходивших мимо женщин, окрикал извозчиков строгим «тише, чёрт!», если извозчик ехал быстро, и ещё более строгим «ну ты, ползи!», коли извозчик ехал тихо. Ни в том, ни в другом окрике не было решительно никакой надобности, но без этого Арефий не пропускал мимо себя ни одного из извозчиков. Все они казались отчаянными дармоедами и лентяями, живущими на счёт сил своих лошадей, которые уже

по одному тому были намного лучше и разумнее своих хозяев, что не сквернословили.

Иногда мимо Арефия, громыхая бубенцами, мчалась тройка, гикал ямщик, визжали женщины, слышался сиплый и пьяный смех мужчин… Арефий вскакивал на ноги и, ощущая в себе горячее желание отправить всю эту компанию в часть, долго провожал их строгим взглядом.

С того времени, как Паньке минуло шесть лет и он стал бегать по улице, Арефий начал также очень строго и недоброжелательно относиться к уличным мальчишкам и быстро успел выработать в них враждебно задорное отношение к себе. Он никак не мог помириться с тем фактом, что все они смеют относиться к его Паньке так дурно и зло, и сначала не хотел верить в это, но случайно подсмотрел две-три сценки, подслушал два-три глупых ругательства по адресу своего приёмного сына, убедился, что это так, что его Паньку никто не любит, кроме него, глубоко задумался и, незаметно для самого себя, объявил мальчишкам жестокую войну, не позволяя им шуметь и играть на улице, часто в своих придирках к ним доходя до смешного, и, наконец, убедил себя, что он имеет дело не с детьми, как это может показаться сначала, а с маленькими людьми, которым вполне доступны и понятны все дурные чувства и наклонности больших.

Это убеждение часто приводило Арефия к очень острым столкновениям с обывателями, а во время столкновений ему не раз приходилось выслушивать много нелестных эпитетов

по адресу Паньки. Всегда после таких столкновений он становился ещё мрачней и всё лицо его, стянутое глубокими морщинами, утопало в бороде, усах и бровях, из-под которых сурово сверкали глаза, делавшиеся от времени всё более беспокойными и нервно-подвижными.

Когда он читал свои излюбленные жития святых, голос его становился всё глуше день ото дня, а порой начинал дрожать и странно, металлически звенеть.

Но в отношениях к Паньке не происходило никаких перемен. Всё то же молчание.

Редко – отрывистые и краткие разговоры, по тону нимало не отличавшиеся от всего, что говорил он с кем-либо, кроме извозчиков и женщин. Это был совершенно спокойный, почти равнодушный тон; им он рапортовал начальству, им отдавал приказы дворникам, им уговаривал пьяных идти домой и им же отвечал на вопросы прохожих. Последнее, впрочем, случалось редко, ибо его суровая, большая фигура, с лицом, глухо спрятанным в чёрную бороду, не располагала к разговорам.

С течением времени он всё менее сидел в своей будке; даже ночью, когда дежурить на улице он не видел ни малейшей надобности, он всё-таки выходил и садился на лавку под кусты бузины.

Неподвижно, как пень, он сидел всю ночь до рассвета и иногда, так сидя, тут и засыпал. Вообще же смотрел в поле за реку очень пристально и долго, не отрывая глаз от избранной

точки. А иногда вставал и шёл к реке, садился там на камни и сидел, точно к чему-то прислушиваясь… Река катилась в даль и тихо, тихо шептала о чём-то берегу…

А Панька, вырастая, всё более уходил в глубь себя, становился всё более скучен и молчалив для детей-сверстников и почти уже не делал попыток установить какие-либо сношения с ними, помня прежние попытки, которые принесли ему гораздо более огорчений, чем радостей.

После одной из таких попыток он вошёл в будку взволнованный, со стиснутыми зубами, с синяком под глазом и рассечённой в кровь губой.

– Что, опять подрался? – спросил Арефий, довольно одобрительно поглядывая на него. – Экий ты, братец мой, воин, всё дерёшься!

Панька молча сел на лавку и, пососав губу, плюнул.

Арефию очень нравилось в Паньке то, что он ни разу не прибегал к нему с жалобами и со слезами, а расправлялся с врагами, поскольку мог, своими средствами и никогда, какой бы урон ни потерпел, не плакал.

– С кем ты это похлестался теперь? с Огузковым, что ли, опять?

В другое время Арефий не говорил бы с Панькой больше, но теперь, чувствуя, что Панька чем-то крепко задет за живое, пытался доискаться истины. Ему не пришлось особенно хлопотать об этом, потому что Панька вдруг наклонил голову и глухо, весь дрогнув, спросил:

– Где у меня отец с матерью?

Арефий, возившийся перед печью, уронил из рук ухват и вытянулся перед Панькой, как будто Панька был частным приставом, вытянулся и, широко раскрыв глаза, с некоторым страхом стал смотреть на его согнутую фигуру. Панька не видал его позы и мины и долго ждал ответа, но не получил его.

– А что они были за люди такие? – поднял голову Панька и скверно, не по-детски улыбнулся в изумлённое и испуганное лицо Арефия.

На этот раз Арефий нашёлся.

– Мать твоя – шкура барабанная, а отец – мерзавец! – рыкнул он на всю будку и подкрепил своё определение отчаянным ругательством по адресу родителей Паньки, ругательством, какого Панька не слыхал от него ни прежде, ни после.

Панька снова согнулся и замолчал.

Арефий сел на лавку, не обращая внимания на то, что в печке кипел какой-то горшок с водой и заливал яростно шипевшие дрова. Молчали долго и внушительно.

– Знал ты их? – робко спросил, наконец, Панька.

– Знал… – загудел Арефий. – Как не знать! Уж коли своего ребёнка под забор бросили, значит – подлецы.

– А живы они?

– Ну, уж не знаю… Нет, наверное, сдохли оба. Она, чай, от тоски по тебе, а он спился с кругу или что ни то в таком роде, тоже под забором, верно, и сдох… как собака.

– А ты… их видел?

– Никогда я во весь век свой такой дряни не видывал! Видел бы я их!..

Панька понял из заключительного возгласа, что если б Арефий видел его родителей, то им, наверное, от этого было бы очень нехорошо, – понял и никогда более не заводил с ним разговоров об этом тёмном вопросе. И только однажды как-то Арефий сам заговорил об этом, исходя от какой-то тайной мысли, кажется, несколько романтического характера:

– А видно, что ты не простых, чёрных людей сын. Ум у тебя не простой и всё прочее. Не чернь.

Из каких наблюдений вывел Арефий заключение о происхождении Паньки от таких сложных и светлых людей, коим был неизвестен инстинкт любви к детищу, это было его тайной, Панька же не давал ему большого материала для такого вывода. И кроме этого вопрос о происхождении Паньки не подымался ни разу.

Думал ли Панька о нём? Может быть. Он всегда так много думал и так подозрительно упорно молчал, что, наверное, не оставлял и этот вопрос без исследования.

Нет границ фантазии человека, фантазии же ребёнка ещё меньше границ, ибо душа ребёнка ещё более тайна, чем душа взрослого, – в ней нет тех маленьких дрянных чёрточек, которые так ясно видны в искушённой жизнью душе большого человека.

Как-то раз, возвратившись из части, Арефий обратил внимание на скворца, который за последнее время вёл себя очень странно: сидит, сидит неподвижно на жердочке клетки и вдруг полетит с неё кувырком вниз. Часто он попадал в чашечку с водой и потом долго отряхивался, щёлкая клювом и хлопая крыльями. Всегда после таких падений ему дорого стоило взобраться на жердь, куда прежде он взлетал сразу, а когда он взбирался, то садился не посредине её, как прежде, а к краю, прижимаясь боком к стенке клетки. В этот день хромая птица то и дело встряхивала крыльями, стараясь удержаться своей ногой за жердь и, видимо, теряя силы.

– Умереть хочет хромой-то! – сообщил Арефий Паньке, критически осмотрев птицу.

– Ну? – немного тревожно произнёс Панька, любивший этого скворца больше других птиц.

– Верно. Умрёт. Он ведь старый уж…

– Не тронь его, пусть…

Панька поднял голову и печально уставился на птицу, всё сильнее качавшуюся на жерди.

– Может, вынести его на волю? – спросил он Арефия.

– Можно и вынести!

И вот они сняли клетку и вынесли её под куст бузины перед будкой. Был весёлый мартовский день, всюду на солнце сияли лужи, рыхлый снег сочился водой, и даль давно уж не была так широко открыта и заманчиво свободна от серых

масс зимних облаков.

За рекой вилась дорога чёрно-коричневой широкой полосой, и по обеим сторонам её сверкали на солнце яркие пятна проталин. Небо было ярко, и весело сияло в нём молодое солнце весны. Но скворца уже не могло оживить всё это. Он спокойно оглянулся вокруг, качнул головой, протяжно и тихо свистнул, упал с жердочки и умер.

Это случилось как раз в ту секунду, когда Панька хотел отворить дверцу клетки и, вынув из неё скворца, положить его на проталинку.

Панька отшатнулся и жалобно смотрел, как в предсмертной судороге вытягивалась лапка птицы, и, когда наконец, дрогнув, замерла, по его лицу одна за другой покатились слёзы… Вынув птицу из клетки, он повёртывал её в руках, и слёзы из его глаз капали на её перья.

– Значит, коли я умру, так ты тоже заплачешь? – тихо спросил его Арефий, наклоняясь к его лицу.

Панька бросил птицу на землю и, схватив руками шею Арефия, ткнулся ему в грудь головой, что-то бормоча сквозь сотрясавшие его рыдания.

– Ну, ладно, ладно. Не плачь. Ничего… Не без добрых людей свет. Проживёшь.

Трудно тебе только, не умеешь ты кориться. Это горе. Ну, а без этого – вдвое, потому тогда все на тебе поедут. Но ничего. Пробьёшься. Главное – учись! – Кое-как, рубя слова, как топором, Арефий успокоил Паньку, и они вместе устро-

или похороны скворца: вырыли у корней бузины ямку, выложили её мелкими черепками и засыпали землёй.

Панька, сильно удручённый этим событием, выпросил у Арефия позволение поставить над могилой крест и принялся строгать его из лучинок, а Арефий, погружённый в тяжёлые думы, избороздившие ему весь лоб морщинами, сел в угол на лавку и исподлобья наблюдал за ним.

– Есть у меня такая дума, что я умру скоро. Тошно мне очень бывает порой…

Ну, так вот…

Панька положил нож на стол и стал внимательно слушать.

– Перво-наперво, за Михайлом у меня в долгу тридцать пять рублей с двугривенным, да вот в сундуке лежит семнадцать с половиной. Дать их тебе в руки нельзя, а вот я отнесу на почту в кассу, есть там такая касса, и возьму жёлтенькую книжку оттуда.

Ты эту книжку храни. Ну, положим, я тебя хочу пристроить в мастерство. Ах, Панька, и скверно же тебе там будет! ух, как скверно! Народ – оголтелые собаки. Пьяницы, воры, матерщинники, развратники, – просто прелесть! бить тебя будут. Поносить тебя будут… Э-хе-хе!..

Арефий встал, снял с полки шапку, резким жестом надел её на голову и ушёл из будки, оставив Паньку, подавленного предсказаниями, доделывать крест на могилу покойного скворца.

Воротился в будку Арефий поздно ночью, когда Панька

уже спал, но к затронутой теме уже не возвращался.

Прошло ещё месяца два. Не так давно Панька вдруг возымел охоту к ученью и теперь все дни проводил за книжками, но мудрые науки давались ему с трудом. Весьма часто эти книжки выводили его из терпения; в поте лица разбирая одно какое-нибудь слово, он вдруг открывал, что оно ему давным-давно знакомо. Это его бесило, и он ставил вопрос: зачем тут написаны такие слова?

Как-то раз, в раздражении на науку, он заявил Арефию, что все эти книжки написаны «нарочно» и ничего в них нужного ему, Паньке, нет.

– А тебе чего нужно? – спросил Арефий.

– Мне-то? – задумался Панька. – Вот тут написано: «Наши дети сели и съели ягоды» и ещё: «Ель, мель, шмель, ел, мел, смел»… Это зачем мне нужно?

– Да, это действительно не тово… Ну, а ты читай дальше.

Панька читал дальше и всё-таки был недоволен, не находя ничего такого, что отвечало бы на смутные запросы его души. В этот день он прочитал две сказки и, по обыкновению, возмущённо размышлял на тему – зачем они ему нужны?

С улицы издалека доносились крики и смех мальчишек, и в окно будки весело заглядывало солнце. Это ещё более злило Паньку, не позволяя ему сосредоточиться на книжках. Птицы задорно щебетали, прыгая в клетках, и Панька, искоса поглядывая на них, вспоминал своё давнишнее желание выпустить всех птиц на волю. Где-то вдали глухо греме-

ла пролётка. Панька посмотрел в окно. По улице шёл булочник, и Панька почувствовал, что ему хочется есть… Арефий что-то долго не идёт сегодня.

Дребезжание пролётки всё приближалось к будке, и вон она появилась из-за угла; на ней сидит полицейский, но не Арефий. Это Михайло… «А чего ему нужно?»

– подумал Панька и, выйдя на улицу, встал у двери будки.

Михайло ещё издали махал что-то руками, как бы подзывая Паньку к себе. Панька смотрел на него и, видя, что весь он как-то странно растрёпан, фуражка сдвинута вбок и на затылок, шинель расстёгнута, догадался, что произошло нечто важное.

– Садись скорей! – крикнул Михайло.

– Ну? – спросил Панька, прыгая в пролётку.

– Вези назад в больницу! – толкая извозчика в спину, скомандовал Михайло.

– Что… вышло?! – крикнул Панька, бледнея и дёргая Михайла за обшлаг.

– Вышло плохо. Арефий-то с ума спёр. Спятил с ума. Помешался. Понимаешь?

Пришёл к частному приставу и говорит: «Мучьте меня, я христианин. Мучьте, не хочу я с вами, говорит, больше никакого отношения иметь». Гоголев было его в зубы. Ну, он ничего, – «бей, говорит, Диоскор, но я пребуду христианином до века». Ишь ведь какая чепуха!.. Пока что, он, Арефий-то, давай с полки хватать дела, да обземь их, да ногами

по ним: «Сокрушу, говорит, ваших идолов в прах», и прочее такое. Ну, конечно, его сейчас верёвкой и в больницу, а он-то говорит, а он-то говорит!.. Н-да! вот они, книжки-то, и сказались. Эх ты, горе – эта грамота! Думается, от неё и всякое недоброе в голову идёт. Сейчас это – как, да почему, да зачем, да – тьфу!.. и с ума спятишь. Жалко малого-то, страсть как! товарищ ведь, старый друг!

Панька сидел подавленный, угрюмый и бледный и молча слушал, припоминая Арефия, каким он видел его вчера, третьего дня и дальше, в глубь прошлого… Ничего не было заметно за старым полицейским солдатом, кроме того разве, что он сильно худел день ото дня, что у него всё глубже вваливались глаза и взгляд их, обыкновенно мало подвижный, мрачный, за последнее время был как-то особенно жив и странно поблескивал то будто радостью, то страхом перед чем-то.

Раз, впрочем, не так давно, он заговорил о жизни в Ташкенте, о жаре, песке, диких тамошних людях и о каких-то поступках, за которые этих людей нужно убивать, как крыс. Но, поговорив об этом, он снова замолчал и всё время, до сегодняшнего утра, был человеком как следует.

– А он что – выздоровеет от этого? – прервал Панька разглагольствования Михайла.

– Он-то? Ну… известно… конечно… выздоровеет. А что доктор – разве он может что знать вперёд? Никогда! Доктор может лечить, и всё тут, и больше этого ему не дано. А ты

будку запер? Извозчик, стой! А будку ты запер, а?!.

– Наплевать на будку! – махнув рукой, с раздражением крикнул Панька. – Разве что говорил доктор? Ты скажи, говорил? Эх, зачем ты остановил извозчика! Едем, дядя Михайло, скорей!

– Как едем, коли ты не запер будку! Ах ты, братец мой!.. едем, говорит!

Ну ж дитё!.. Растаскают ведь всю будку! Извозчик, назад! Поезжай, дурак, назад!

– Милый дядя Михайло! Не надо!.. Едем туда, к тяте Арефе!.. пёс с ней, с будкой! – кричал Панька, волнуясь.

– Невозможно, чудак! Я один ворочусь ин. Один! Извозчик, вези его, вези в больницу! Ну, пошёл! где сумасшедших сажают, вези! А ты спроси там, Панька…

Но пролётка загремела, и Панька не расслышал, что надо спросить. Он ёрзал по сиденью пролётки и всё понукал извозчика: «Скорее поезжай!»

– Сейчас приедем! – убедительно отвечал извозчик, чмокал губами, махал кнутом в воздухе и корил лошадь, возглашая: – Ну, куда ты прёшь, дура? Али ты тоже с ума сошла? – и, дёргая вожжами, сворачивал ей голову то вправо, то влево, на что она отвечала ему негодующими взмахами жидкого хвоста и недовольным фырканьем.

Михайло своим печальным сообщением точно сорвал с мозга Паньки какую-то пелену, мешавшую ему до сего дня правильно понимать и воспринимать окружающее. Панька

почувствовал себя одиноким, беззащитным и инстинктивно как-то насторожился, подозрительно и недоверчиво поглядывая вокруг и усиленно пытаясь заглушить неотвязно нывшую в его груди холодную тоску, позывавшую его расплакаться. Всё – извозчик, улица, люди, шедшие по ней во все стороны, – теперь показалось ему более чуждым, чем вчера, например, и возбуждало в нём боязливое опасение чего-то обидного и нежелательного. И даже небо, ясное, горячее летнее небо, вчера тёплое, ласковое, сегодня стало каким-то бездушным, сухим и не имеющим к нему, Паньке, никакого отношения.

– Ты как думаешь, выздоровеет он? – спросил Панька у извозчика, подъезжая к решётчатому забору, за которым стояло жёлтое холодное и скучное здание больницы.

– Он-то? Вы-ыздоровеет! Налево, чёртова кукла, налево! Экая непутёвая планида!

Но раньше, чем «чёртова кукла» и «непутёвая планида» успела поворотить налево, Панька спрыгнул с пролётки и стрелой помчался к жёлтой стене, на которой тёмное пятно отворенной двери смотрело глубоким зевом.

Этот зев поглотил Паньку, обдал скверным, прохладным веянием и остановил его, недоумевающего, куда теперь идти.

– Тебе что? – спросили его откуда-то.

Опустив низко голову и не пытаясь посмотреть, кто с ним говорит, Панька торопливо забормотал:

– Будочник один… сумасшедший… сегодня привезли…

укажите, где это.

– А!.. иди прямо, прямо. Отец, что ли, будет тебе?

Панька поднял голову. Перед ним двигалась чья-то широкая спина в красной рубахе.

– Отец, мол, что ли? – говорила эта фигура тенором, не оборачиваясь лицом к Паньке, и вдруг стала так неожиданно и быстро, что Панька ткнулся в неё лицом.

– Вот, Николай Николаевич, сын к сегодняшнему полицейскому пришёл.

К Паньке подошёл господин в очках и взял его за подбородок.

– Ну, что же тебе, мальчик, нужно? – спросил он ласково и тихо.

Панька удивлённо вскинул на него глазами. Лицо у господина было худое, бледное и такое маленькое.

– Что же ты хочешь? а?

– К нему бы…

– Да нельзя этого. Нельзя.

Панька сморщился и молча заплакал. У него кружилась голова.

– Как же теперь… я-то? – сквозь слёзы спросил он.

Но господина около него уже не было, стоял один только человек в красной рубахе и белом фартуке. Он стоял перед Панькой, заложив руки назад, и, закусив губу, задумчиво поглядывал на него. Панька плотно прижался к стене и всхлипывал.

– Нишкни! Айда-ка со мной скорей, чтоб не видел доктор-то, ну! – и, схватив Паньку за руку, он помчал его в глубь коридора.

– Гляди!

Паньку сзади схватили руками, подняли на воздух и ткнули в круглое стекло, вставленное в дверном отверстии, а за дверью гудел могучий бас Арефия.

Он стоял среди комнаты в длинном белом халате, с руками, туго закрученными назад, в длинном колпаке, падавшем ему на спину, и говорил. Всё его лицо и голова были обриты, от этого большие уши казались оттопырившимися, щёки пожелтели и ввалились, скулы стали острыми, глаза, широко раскрытые, совсем ушли в глубокие, чёрные ямы, под одним из них образовался багровый подтёк, а на левой скуле резко бросалась в глаза красная звёздочка, из которой вытекали капельки крови и, тонкой лентой перерезывая щёку, спускались на шею и пропадали за воротом халата. Арефий стал страшно худ и высок.

– Вот вы ввергли меня в темницу! – гудел он, страшно сверкая глазами. – Терплю во имя бога моего и претерплю до века. Но разрушил я кумиры ваши и поверг во прах жертвенники! И поверг во прах жертвенники и, доколе не вырвали вы языка моего, обличаю вас, окаянные! Вы забыли бога истинного и во мраке, блуде, скверне коснеете, анафемы! Ан-нафемы!! Ан-наа-афемы!!. Вы скверните души младенцев!.. Нет вам спасения!.. Вы, язычники скверные, нет вам спасе-

ния! Нет вам спасения!! Обломки вы! Обломки! Вы мучили меня… За что вы мучили и били меня?! За истину, за бога в сердце моём!..

Его бас то гремел, то понижался до шёпота, тоскливого и тихого шёпота, заставлявшего Паньку дрожать, как в лихорадке, и боязливо отшатываться от оконца.

– Жду смерти моей, язычники! Жду славы моей! Где палачи и мучители?

Ана-афемы! анафемы! анафемы!!.

Дикие, страшные крики потрясали дверь, и стекло, в которое смотрел Панька, тихо дребезжало.

– Ну, будет, довольно. Иди скорей домой! Иди, а то доктор увидит.

Сопровождаемый криками Арефия, Панька, ничего не понимая и не видя, вышел из коридора и пошёл куда-то. Шёл он долго, и в ушах его гремели проклятия Арефия и раздавался его страшный шёпот. Угловатое, жёлтое и бритое лицо то увеличивалось до необъятных размеров, глаза делались величиной с солнце и блестели так же ярко, но только чёрным, мрачным блеском, то вдруг оно раскалывалось на множество маленьких лиц, градом сыпавшихся откуда-то перед глазами Паньки, пронзая его сердце тысячами острых взглядов и наполняя его отчаянной, становившейся всё тяжелее тоской.

В памяти Паньки на миг вставали разные картины прошлого с Арефием, здоровым, бородатым, молчаливым…

вставали, исчезали, заменялись другими, снова исчезали…

Какой-то вихрь крутил мозги мальчика, заставляя его то сразу видеть чуть не всё своё прошлое, то вдруг погружая его в странную тьму без дум, без образов и снова открывая перед ним то один былой эпизод, то целую цепь их, связанных без всякого порядка во времени тоскливой и тупой болью воспоминания о них, жалости к Арефию, страха за себя, целым хаосом чувств, сменявших одно другое, перепутывавшихся между собой и камнем давивших на голову, плечи и грудь Паньки…

Перед ним была река. От неё веяло холодом. Тёмная, о чём-то тихо шептавшая, она лилась в даль, плотно закрытую ночью, и терялась в ней. Над нею небо, густо покрытое лохматыми, рваными облаками; в разрывы их блестели его голубые клочья с двумя-тремя звёздочками в том и другом из них. Всё небо было такое рваное, ветхое, казалось, готовое вот-вот упасть на землю и в покойную, сонную реку, отражавшую в своих тёмных волнах не закрытые облаками его голубые бедные куски и жалкие, одинокие звёзды на них. За рекой темнела даль и страшно молчала.

Панька быстро направился к своей будке. Но она была заперта на замок. Тогда, постояв немного, он лёг под куст бузины и лежал кверху лицом, следя за медленно ползавшими по небу облаками до той поры, пока не уснул тяжёлым сном, полным кошмаров.

Паньку разбудили чувствительные толчки в бок, он открыл глаза, мельком увидал, что над ним склонилось чьё-то знакомое лицо, и снова зажмурился от солнечных лучей, ударявших прямо ему в голову.

Этого времени ему было достаточно, чтоб ярко вспомнить всё происшедшее вчера.

– Ну-ка, вставай! – раздался над ним женский голос.

Он быстро встал. Перед ним была тётка Марья, смотревшая на него с ласковым любопытством.

– Идём-ка ко мне. Ишь ведь, бедненький, где уснул! Ты что же не приходил ко мне ночевать-то?

Панька молчал. Он не любил тётку Марью. Ему не нравилось в ней и то, что она такая большая и сильная, и то, что она всегда так много ругается, и её серые глаза, и голос, грудной и грубый, и вся она, энергичная, вечно настороже или вечно воевавшая с чем-нибудь.

Они пошли рядом друг с другом.

– Ну, уж ты не больно убивайся. Ничего, бог да добрые люди помогут, проживёшь.

Только и сам рта не разевай. Смотри, вникай, понимай, что к чему. Учись жить-то, дело это трудное. Зевать ни-ни, невозможно! А то в дураках и останешься. Может, это и к добру ещё для тебя-то случилось. Потому, что ты от Арефья-то видел? Ни внимания настоящего, ни науки. Баловство одно. Точно с большим, он с тобой обращался! разве это идёт? Ребёнок ты есть, ну и нужно с тобой быть, как с ребён-

ком. И сам-то он был, к слову сказать, дурак дураком. Нужно жить, а он в книжку читает. Эка мудрость, книжку-то читать! А ты вот век проживи, в люди пролезь, силу себе прикопи, уваженье заслужи, это помудрее всякой книжки будет! Одиннадцать годов будочником пробыл, и ни-ни, ни синьпороха нет!..

Панька слушал, сердился и неодобрительно мычал в ответ на боевую философию Марьи. А когда она обругала Арефия дураком, он даже смело дёрнул её за платье, как бы желая остановить её от дальнейшего поношения своего воспитателя, но она, в пылу своего ораторства, не заметила его попытки и с жаром продолжала далее:

– Людям не верь. Ласкают – врут, хвалят – врут, ругают – правда, да и то не совсем, пересаливают. Ко всякому человеку первоначально с опаской, подумай, – нельзя ли ему из тебя каких ни то соков выжать, а потом, коли видишь – нельзя, подходи вплоть, да и то остерегись – и себе-то не верь. И к самому себе нужно зачастую относиться, как к чужому. Потому человек и для себя добро-то плохо понимает; думает, вот оно где, ан нет, шалишь! в лужу сел!

Увлечённая собственной мудростью, тётка Марья забыла о том, с кем имеет дело и, входя всё в большие и большие тонкости, дошла до того, что вдруг заявила:

– А с нашей сестрой держи ухо востро!..

Но тут случайно взгляд её упал на слушателя. Он семенил рядом с ней, еле успевая за её крупными, мужскими шагами,

и в своей красной рубашонке, босиком, с хмурой, рябой рожицей, ещё смятой сном, и с растрёпанными волосами был так по-детски мизерен и жалок по сравнению с её могучей фигурой.

– Тьфу!..

Этим энергичным плевком она поставила точку своим поучениям и уже вплоть до части не сказала Паньке ни слова более.

Когда они вошли в коридор части, навстречу им вышел Михайло с каким-то горшком в руках.

– А-а, пришли! Важно! Обедать бы пора, Семёновна, а? Где ж ты был?

Ночевал где?

– Там… у будки…

– Ишь ты!.. – вдумчиво протянул Михайло, входя в комнату сзади их.

Марья уже разделась и шарила ухватом в печке.

– Творог вот у меня… куда бы его? а?..

– Откуда творог? – оживлённо осведомилась Марья, принимая из рук мужа горшок и засовывая в него нос. – Хороший, свежий творог!..

– А это мне мужичок один подарил… за услугу, – объяснил Михайло и, хитро подмигнув жене, щёлкнул языком.

– Ах ты, чучело моё огородное! – ласково щёлкнула его Марья по затылку.

– Ироиня! жена благоверная! Ещё кое-что имею!.. Давай

обедать только, покормишь хорошо – скажу.

– Ну-ну-ну!.. – наступала на него Марья с выражением крайнего любопытства на лице.

Михайло сунул руку в карман и позвенел мелочью, с торжеством на лоснящемся бритом лице.

– Сколько? – радостным шёпотом спросила Марья.

– Полтора с пятаком, да огурцов ведёрко!

– То-олько!.. – уже с некоторым разочарованием протянула жена. – В середу-то богаче было.

– Ну, так то в середу, а нынче – пятница. Базар базару рознь. И то сегодня новый-то частный, Карпенко, что-то уж косо поглядывал. Черти проклятые! Женился на двух-то каменных лавках, да на таких деньгах – и стал чист, как яичко.

Жени-ка меня!

– Я те вот, старого пса, ухватом женю!

Панька всё время разговора между супругами стоял у двери и, глядя на них, чувствовал себя тут лишним, забытым и для людей этих ни на что не нужным. Он несколько раз пытался представить себе, что будет с ним дальше, – и не мог.

– Дяденька!.. – прервал он обмен любезностей между супругами. – Скоро ли пойдём туда?

– Это куда – туда? – обернулся к нему Михайло.

– В больницу-то…

– А зачем ты туда пойдёшь? Али и ты с ума сходишь? Садись-ка вот на лавку, да сиди, обедать будем. Сейчас вот наши ребятишки из школы придут, гулять пойдёте вместе, и

всё такое…

Панька сел на лавку и погрузился в тоску, не слыша и не видя ничего, происходящего вокруг него. Спустя некоторое время его позвали обедать. Он сел за стол и, почувствовав, что есть ему не хочется, положил взятую ложку.

– Ну, чего ж ты? – спросила Марья довольно сурово.

– Не хочу… – тихо ответил Панька.

Тут оба супруга наперерыв стали ему читать длинную нотацию, которая, впрочем, ничуть не мешала им быстро и успешно опоражнивать большую глиняную миску какого-то варева, издававшего густой запах топлёного жира и прелой капусты.

«Анафемы!..» – гудело в ушах Паньки глухими металлическими ударами.

– Анафемы!.. – шёпотом повторял он про себя и, представляя себе испитое, безумное лицо Арефия, вздрагивал и шевелил губами. У него то отливала кровь от лица, то вновь горячей волной била в него и, сообразно с этим, рябины то, бледнея, ярко вырисовывались на щеках и на лбу, то сливались в сплошные красные пятна.

– Ты чего шепчешь там? Эй ты, пёстрый-вострый! волчонок! – крикнул ему Михайло, вылезая из-за стола.

– Я пойду… – решительно произнёс Панька и встал с лавки.

– Куда? – строго спросила Марья.

– На будку пойду.

– Зачем на будку? Новый полицейский там. Не знает он тебя, прогонит вон… сиди-ка знай!

Панька сел и задумался. Михайло забрался за ситцевый полог на постель и заставил её скорбно заскрипеть.

– А как же птицы? – подумав, произнёс Панька и вопросительно взглянул на Марью.

– Выпустил я их, всех выпустил. И какое там было имущество, забрал сюда.

Нечего, значит, тебе там делать! – ответил Михайло из-за полога и аппетитно зевнул.

– А укладка где? – немного спустя спросил Панька. Михайло уже всхрапывал.

Марья села к окну и что-то шила. Паньке никто не отвечал. Тогда он с ногами забрался в угол на лавку и замер там, сжавшись комком.

«Куда его теперь понесёт?» – подумал он. Ему представилась река и те щепки, которые плывут по ней. Иная из них прибивается к берегу и останавливается. Панька помнит, что он всегда толкал такие щепки в воду. Ему не нравилось в них то, что они не хотят плыть дальше, туда, где пропадает река… «А куда пропадает река?»

– «В другую, и с ней – в море», – говорил Арефа. Море – это очень много воды, так много, что, если отъехать от берега настолько далеко, что он пропадёт из глаз, другого берега всё-таки не увидишь, и не увидишь через день, и два, и три. «А может, Арефий говорил одну чушь? ведь он сумасшед-

ший… Всегда он был сумасшедший?..»

Панька долго неподвижно сидел в своём углу и думал об Арефии, о море и всё возвращался к вопросу – куда же, наконец, его понесёт? что будет с ним завтра?..

Его разбудил от дум внятный шёпот. Очевидно, предполагая, что он спит, супруги разговаривали за пологом кровати о нём.

– Об укладке спрашивал… – говорила Марья.

– Ну?!. – тревожно спросил Михайло.

– Где, говорит, укладка?

– Ах, дьяволёнок!.. – удивлённым шёпотом произнёс Михайло. – Как нам быть-то с ним? Скорее бы к Савельичу-то его надо. Видно, он знает, что в укладке-то деньжата были. Ты бы, Марья, свела его завтра.

– Ну, заёрзал!.. завтра!.. заторопился! испугался, индюк!.. Чего больно боязно?

– Всё-таки, знаешь, вдруг он спросит «а деньги тут были?» а? Как тогда говорить?

– Ду-убина!.. – сардонически протянула тётка Марья, и затем их шёпот понизился, так что Панька не мог уже ничего разобрать в нём.

Этот разговор не создал в нём никаких новых чувств к супругам, хотя он понял, конечно, что они его собирались обворовать. Но к этому он отнёсся вполне равнодушно, отчасти потому, что неясно представлял себе могущество денег, больше же потому, что не способен был думать о чём-либо

ином, кроме печальной доли Арефия и того таинственного «завтра», которое скрывало от него дальнейшую жизнь.

К супругам он относился всегда очень неприязненно, а сегодняшний день усилил в нём эту неприязнь ещё чем-то новым, тоже далеко не лестным для супругов. Он знал, что с ними ему долго иметь дело не придётся, ибо не чувствовал себя способным вытерпеть их общество ещё один день, да и понимал, что сам он им неприятен и не нужен.

Теперь, когда они храпели вперегонку друг с другом, они казались ему ещё более неприятными, чем во время бодрствования. Он, сидя в своём углу, слушал их храп и, покачиваясь из стороны в сторону, думал свою неотступную думу об завтра, не умея даже представить себе, каким оно может быть…

Но вот за пологом завозились, раздались зевки и кряхтенье, и Михайло, с всклокоченной головой и измятым лицом, грузно выкатился в комнату.

– Спишь? – обратился он к Паньке.

– Нет! – ответил тот.

– А ребята мои приходили?

– Нет, – односложно повторил Панька.

– Нет да нет – вот и весь ответ! Н-ну, должно, к тётке в слободу ушли.

Поставить ин самовар, а то на дежурство скоро.

И он ушёл в коридор ставить самовар.

За ним вылезла Марья. Молча посмотрев на Паньку, она

стала чесать себе голову.

Панька смотрел на её густые каштановые косы и думал – какая она молодая, ни одного седого волоса нет… А вот Арефий так был очень сед…

– Ну, что ж ты, Панька, думаешь? как теперь тебе жить на свете? – вдруг спросила Марья, повёртываясь к Паньке в фас и строя гримасы, оттого что гребень, не расчёсывая волос, рвал их.

– Не знаю! – мотнул головой Панька.

– Та-ак!.. – протянула Марья. – А кому об этом знать надо? Тебе, огарок, тебе!..

Она вздохнула и замолкла. Панька тоже молчал. Молчали до той поры, пока Михайло не внёс кипящего самовара и не сел за стол. Пили некоторое время тоже молча.

– Ну, парень! – начала Марья, наливая себе третью чашку чая, уже успевшая вспотеть и расстегнуть себе две верхние пуговицы кофты. – Теперь ты слушай, да помни!

– и, проговорив это торжественным тоном, она внушительно помолчала ещё немного.

– Сведу я тебя завтра к знакомому сапожнику и отдам ему тебя в мальчики. Живи, не дури, работай, учись, слушайся хозяина и мастеров, – будешь человеком. Сначала покажется трудно, терпи; привыкнешь – будет легко. Дело твоё такое, что один весь тут. В праздники к нам ходи. Как к родным, близким, приходи, пей, ешь. Всегда примем и рады будем.

Понял?

Панька понял и кивнул головой в подтверждение этого.

– Не забывай, кто об тебе позаботился! Нас-то, то есть, не забывай! И мы тебя не забудем! – поучительно и многообещающе заявил Михайло и пристально уставился на Паньку, ожидая, как он на это отзовётся.

Панька вопросительно поднял на него глаза, как бы желая спросить – зачем нужно не забывать? – и снова молча опустил их.

Михайло разочарованно вздохнул и ожесточённо стал дуть на блюдечко с горячим чаем.

Снова воцарилось молчание. Панька исподлобья поглядывал на супругов и ощущал себя в силе и вправе сделать им какую-нибудь неприятность. Сначала ему не удавалось придумать ничего эффектного, но потом он вспомнил.

– А где укладка, дяденька? – вдруг спросил он.

Супруги переглянулись.

– Укладка, брат, у меня. Об укладке ты и не думай, цела будет. Вырастешь большой, приди и скажи: «Дяденька, давай мне укладку мою!» Сейчас я тебе её – раз! «Получите, Павел Арефьич, вашу укладку в целости!» Н-да!.. А что в ней есть такое, – твои штаны, рубашки, – это ты… с собой возьмёшь, пожалуй. – И, закончив реплику, Михайло тяжело вздохнул и изобразил на своём бритом лице огорчение и обиду.

Марья помалкивала, пытливо озирая Паньку.

– Ну, а деньги в ней были… их куда? – медленно выговаривая слова, протянул Панька.

– Де-еньги?!. – вопросительно воскликнул Михайло и с большим удивлением в голосе и на лице обратился к Марье: – Жена! деньги там были? В укладке деньги были? а? Не видал я, брат, денег в укладке этой самой!.. Не скажу я, что видел в ней деньги, – убей меня бог!..

– Ну что ты божишься, дурак? Кто тебе не верит, что ли?! У, сморчок старый!.. Не видал, ну и не видал! Божится!..

– Я ведь это так… просто призвал имя божие… и всё! Разве это грех? Сказано ведь «не призывай всуе», – а я не всуе, а к слову…

Панька поглядывал на супругов и видел, что Михайло смущён его вопросом и теперь ещё не может оправиться от смущения, а Марья – нимало. Это его прямо уж разозлило, и он пошёл дальше:

– Денег там было семнадцать рублей, да ещё за тобой – тридцать пять рублей. Вот что! Это мне тятя Арефа сказал. Недавно сказал.

Тут, к великому удивлению Паньки, не ожидавшего ничего подобного, оба супруга залились весёлым смехом. Марья закинула голову назад и, выгнув вперёд грудь, вся вздрагивала, смеясь густыми, мужскими звуками, а Михайло дребезжал захлёбывающимся тонким тенорком.

Панька, недоумевая, смотрел на них и тоже недоверчиво улыбался, как бы не решаясь – смеяться ему с ними или нет.

– Чу-удак, право, этот Арефа!.. тридцать пять рублей! а?!. Загнул цифру!..

– сквозь смех проговорил Михайло.

– Ах ты, дитятко!.. Он, Арефий-то, тебе сказал, а ты и поверил? правда, мол, это! Ды-ть он сумасшедший!.. ведь он спятил с ума-то, глупыш ты!.. – с ироническим сожалением к Паньке проговорила Марья, справившись с припадком смеха.

Панька знал теперь суть этого смеха, вздохнул, побледнел и, весь трясясь от злобы, кинул им в лицо сильно и громко:

– Врёте вы! Оба врёте! Вы думаете, не слыхал я, что вы давеча на постели-то говорили?! Ан и слышал я всё! Эх вы!.. воры! оба вы воры! вот что!.. Воры вы!..

– и в подтверждение своих слов Панька толкнул ногой стол.

Михайло был поражён. Он испуганно вытаращил глаза на Марью и, упёршись руками в стол, замер в этой позе. Но Марья была женщина не промах и ещё раз подтвердила это на деле.

– Вот те и раз! – испуганно крикнула она, вскакивая со скамьи, когда Панька кончил кричать и, бледный от волнения, сел на своё место, зло сверкая глазами. – Ах ты, господи боже!.. Ах!.. Михайло, дурак, беги за доктором! беги скорей!.. ведь мальчишка-то тоже с ума сошёл! Видишь, видишь, как зенки-то сверкают!.. Ах ты, царь небесный! Ну, пришла беда – отворяй ворота! Уж именно наказание!.. Бедняга сердечная, не перенёс Арефьеву-то долю!.. Спятил… помешался!..

Панька, несмотря на своё волнение, понял, что его посадили в лужу. Понял и вдруг залился слезами – горькими, злыми слезами, от сознания своего бессилия в деле борьбы с жизнью и людьми, первыми слезами в первый день своего одиночества.

Настращав его, они, конечно, не звали никакого доктора и всё время до той поры, пока он не уснул, внимательно и заботливо ухаживали за ним. Они уложили его спать в том углу лавки, где он провёл большую часть этого дня, и он, засыпая, слышал густой шёпот Марьи:

– А мальчишка не промах. Зубастый. Это хорошо, что зубастый, значит, сумеет, прогрызётся к своему месту сквозь людей-то…

Во сне Панька видел много весёлых чудовищ. Безобразные громадные и мерзкие маленькие, они кружились около него и смеялись, щёлкая зубами. От их смеха всё кругом тряслось, трясся и сам Панька, и вместо неба над ним была большая, чёрная дыра, откуда они падали массами и поодиночке. Это было очень страшно, но и весело…

Поутру его разбудили, напоили чаем и повели в мастерскую сапожника. Панька шёл равнодушно, но не чувствовал впереди себя ничего хорошего, в чём, конечно, и не ошибся.

Вот его привели в низенькую, мрачную комнату, где в клубах табачного дыма четыре человеческие фигуры пели песни и стучали молотками. Марья говорила, держа Паньку за плечо, с каким-то толстым и низеньким человеком, который

качался и бормотал:

– У меня… ррай! Не житьё, а ррай! И коррм… тоже ррайский! и всё к-как в рраю… Пр-рощай!

Марья ушла. Панька сел на пол и стал снимать с ноги сапог, в который что-то попало и кололо ногу. Пока он снимал, в спину ему что-то больно ударилось. Он оглянулся и увидал сзади себя на полу старый сапожный каблук, а в дверях чумазого мальчишку одних с ним лет, который показывал ему язык и внятно шептал:

– Ряба форма, шитый нос, чтобы чёрт тебя унёс!

Панька отвернулся и, вздохнув, снова надел сапог.

– Поди-ка ты, друг, сюда! – крикнул ему один из людей, сидевший на низенькой кадке.

Панька смело пошёл к нему.

– Держи! – и ему сунули в руки смолёную дратву. – Крути вот так! Ловко, молодца! Крепче крути!

Панька крутил с угрюмым ожесточением и исподлобья посматривал вокруг себя.

Итак, Панька вступил на благородное поприще труда. Мастерская, в которой он работал, принадлежала Мирону Савельевичу Топоркову, человеку толстому, круглому, с маленькими свиными глазками и с солидной лысиной.

Это был недурной, мягкий человек, относившийся к жизни с некоторым юмором, а к людям – снисходительно посмеиваясь над ними. Когда-то он, очевидно, много читал книг священного писания, и это отражалось на его речи, но те-

перь, кроме бутылочных этикетов, не читал уже ничего. К своим мастерам он относился в пьяном виде по-товарищески, в трезвом – немного строже и всегда – очень редко давал им возможность быть чем-либо недовольными. Впрочем, сам он мало занимался мастерской, по причине своего пристрастия к спиртным напиткам, и всё дело лежало на плечах дедушки Уткина, старого солдата с деревянной ногой, человека прямого и в речах и поступках и страшного приверженца субординации и порядка.

За дедушкой Уткиным следовали ещё двое подмастерьев: Никандр Милов и Колька Шишкин. Первый был огненно-рыж, удал, любил петь, ещё больше – пить и твёрдо знал, что, когда он скашивает в сторону свои весёлые зеленоватые глаза и хмурит брови, его физиономия становится разбойнически красива.

Второй – был бесцветен и казался очень забитым и больным, но имел дурной и злой характер и, говоря ласковым шёпотом, умел сначала всех расположить в свою пользу, а потом сразу отталкивал какой-нибудь неожиданной и нелепо злой выходкой.

От него Паньке стало тошно со второго же дня своей службы.

Затем следовал мальчик – Артюшка. Отчаянный озорник и задира, вечно выпачканный сажей, клеем, варом, он сразу вступил с Панькой в задирательно-боевые отношения, которые скоро разрешились дракой. Артюшка был побит и удив-

лён этим. Он с неделю сумрачно поглядывал на Паньку и всячески старался отомстить ему за своё поражение, но, видя, что Панька глубоко равнодушен ко всем его выходкам, пошёл было с ним на сделку.

– Вот что, рябой! давай помиримся! – сказал он. – Наплевать, что ты меня поколотил. Это ты покуда ещё здоров, а вот поживёшь немного, усохнешь, я и сам тебя тогда вздую. Идёт?

И он протянул Паньке руку. Панька молча дал свою.

– Ну, только ты всё-таки меня младше. Это ты знай! И как ты меня младше, то и должен делать всю чёрную работу. Понял? Согласен?

Панька посмотрел в его чумазую рожу и сказал, что согласен.

– Ну?!. – немного удивился Артюшка. – Это хорошо. Люблю! Ну, так вот, ты, значит, будешь убирать мастерскую, ставить самовар, колоть дрова, топить печь, мести двор, и всё остальное.

– А ты? – спросил Панька.

– А я! чудак!.. чай, на мою долю хватит ещё! Ищё побольше твоего.

Установив с Панькой такое разделение труда, Артюшка оказался совершенно свободным от всяких занятий и дней пять блаженно улыбался, видя, как его товарищ обливается потом под бременем обязанностей.

Но дедушка Уткин это заметил, подозвал Артюшку и, по-

стукав его колодкой по голове, сказал, что он, Артюшка, хотя и умная шельма, но ещё не совсем, а затем, установив правильно его обязанности, позвал Паньку, сказал ему, что он дурак, и тоже дал инструкции.

С этой поры между Панькой и Артюшкой резко определились границы взаимных обязанностей. Паньке поручены были все чёрные дела, не имевшие ничего общего с обучением сапожному ремеслу, а Артюшку посадили на обтянутую кожей квашонку и стали исподволь посвящать в тайны ремесла, что сразу дало ему право относиться к Паньке ещё более свысока и даже покрикивать на него начальническим тоном.

Панька долго потом думал, чем именно дедушка Уткин изменил его положение, и не мог этого понять; всё оставалось так, как установил Артюшка, хотя дедушка и сказал, что он сделал по-своему.

Переход от спокойного, созерцательного существования в будке Арефия к этой жизни, полной ругани, песен, табачного дыма и запаха кожи, был для Паньки резок и давил его. Он, привыкший быть по целым дням один на один с собой или в компании с молчаливым Арефием, с большим трудом привыкал к постоянному обществу четырёх субъектов, находивших возможность с утра до ночи петь, говорить о чём-то, чего он почти не понимал, смеяться друг над другом и, без всякой видимой причины, разряжаться таким громадным количеством убийственно выразительных ругательств, за каждое из которых Арефий отправил бы их в часть. И он посматри-

вал на своих патронов очень хмуро и недоброжелательно, не понимая их и немного побаиваясь. А они, замечая его отношение, ещё крепче посмеивались над ним и порой доводили его до того, что у него глаза вспыхивали неприятным зелёным огнем. Это ещё больше веселило и интересовало их и всё дальше отталкивало от них Паньку.

Часто все они устраивали форменную травлю Паньке, обыкновенно начиная с рассказа о том, как однажды под забором нашли рябого младенца. Они знали от хозяина тёмную историю рождения Паньки и освещали её порой так остроумно и с таким весёлым усердием, что Панька чувствовал себя, как на раскалённой сковороде. Его коробили те цинические подробности жизни, которые здесь всегда резко выдвигались на первый план и о существовании которых он не знал и не слыхал до сей поры. Когда говорили об его отце и матери, юмористически описывая их наружности, род занятий и т. д., Панька чувствовал, что его сосёт что-то, давит в груди и страшно щиплет в горле…

С каждой такой сценой в нём всё сильней и сильней горели различные чувства, и его рябое лицо раскаливалось до того, что становилось страшным. Потешившись вволю, ребята оставляли Паньку в покое и забывали о нём, но он, всё время, пока его язвили, упорно молчавший, не забывал ни о чём.

Он становился всё молчаливее, и у него перестали распрямляться нахмуренные брови, отчего над переносьем лег-

ла глубокая ломаная складка. Эта складка, его молчаливость, всегда склонённая голова и суровый взгляд исподлобья дали ему прозвище Старичок.

Он не обратил на это внимания и откликался на это прозвище. Всем он казался неприятным, много думающим, себе на уме мальчиком. И все, наконец, стали относиться к нему подозрительно и как бы ожидая чего-то от него.

Никандр однажды заметил, что Старичок, должно быть, когда-то убил человека и мучается от желания убить ещё одного или безнадёжно влюблён в кухарку Семёновну.

Колька Шишкин, не соглашаясь с ним, заявил, что, по его мнению, у Старичка слишком развита фанаберия и что правильно периодические трёпки могли бы его от этого вылечить.

Артюшка, считая и себя вправе высказаться по этому вопросу, предположил, что, если Старичку подрезать пятки и насыпать в раны рубленой щетины, он бы стал таким весельчаком, что так бы всё и танцовал с утра до вечера.

Дедушка Уткин, послушав всё это, сказал так:

– Экие вы псы! Работает мальчишка – и ладно. А коли он не козлит по-вашему, так что же? и хорошо это. Он серьёзный. Характер это у него.

И кстати рассказал об одном ротном командире, который тоже имел молчаливый характер и умер оттого, что подавился рыбной костью.

К концу первой недели у всех в мастерской сложился на

Паньку взгляд очень твёрдый и для него ничуть не лестный. Панька это чувствовал, но, конечно, не мог изменить и даже не представлял себе, что изменить такой взгляд возможно. Всё, что его заставляли делать, он делал толково, беспрекословно и молчаливо. Когда же в редкие минуты светлых и ровных настроений мастера пытались заговорить с ним без насмешки в тоне и с любопытством к нему, он отвечал им односложно-покойно, но всегда почему-то выходило так, что в конце концов они оставались им недовольны и снова переходили к задиранию и насмешкам. Его это удивляло, и он на всякое слово, сказанное ему ласково, стал смотреть как на некоторую ловушку, посредством которой его хотят вызвать на разговор и поставить в удобнейшее для насмешек положение. Это заставляло его относиться ко всем ещё более угрюмо и подозрительно.

Так шли его дела с месяц, а потом он постепенно стал привыкать к мысли, что он, очевидно, не похож на других, раз к нему относятся иначе, и его подозрительное и выжидательное отношение притупилось почти до апатии ко всем людям и событиям мастерской. Мастерской тоже примелькалась его молчаливая фигура, и всё острое в отношениях сторон сгладилось, отчего эти отношения, конечно, не улучшились.

Панька работал, молчал, получал трёпки, выволочки, таски, пинки, затрещины и много других знаков внимания к нему – и мирился с ними, ибо не мог себе представить, что в этой закоптелой дыре и от этих шумных людей можно до-

биться чего-либо другого.

В воскресный свободный день он уходил гулять, спрятав себе за пазуху краюшку чёрного хлеба; но, обойдя раза три весь город кругом, нашёл, что в нём мало интересного, и ограничил свои прогулки запущенным садом, принадлежавшим Топоркову. В этом саду, за баней, была славная яма, дно которой поросло густым бурьяном. Панька забирался туда и, лёжа на спине, смотрел по целым часам в небо. Кругом него от ветра шелестел репейник и кусты одичавшего крыжовника, жужжали пчелы, ползали какие-то красные букашки с чёрными узорами на спине… и Панька, глядя на них и на всё другое кругом его, понемногу учился думать.

Жизнь в мастерской почти совершенно не останавливала на себе его внимания.

Она была для него какой-то мёртвой загадкой, думать над которой там он не имел времени, да и не хотел, чувствуя себя не в силах вникнуть в неё, а здесь, в яме, она снова проходила перед ним в строгой последовательности, вся, с утра понедельника до вечера субботы. И раз как-то, когда, восстановив её в памяти, он пропускал её перед своими глазами, он был поражён вопросом: зачем всё это нужно? Зачем нужно шить сапоги для других и ходить босиком самому, пропивая деньги, как дедушка Уткин, или проигрывая их в карты, как Колька? Зачем нужно «возиться с девчонками» и потом смешно-горько жаловаться на них, как это делал Никандр, каждый понедельник рассказывавший какое-нибудь удиви-

тельное приключение с «ней», с дракой, с бегством от «него» или от полиции? Зачем нужно заставлять людей работать и, пропивая заработанные ими деньги, смеяться над собой за пристрастие к водке, как это делал хозяин?.. Всё вообще – зачем?..

И Панька думал, что коли бы Арефий был здоров, так он бы мог рассказать обо всём этом… Но Арефий всё хворал.

Панька был у него уже два раза. В первый – его просто не пустили, а во второй – сказали, что Арефий уже не выздоровеет и что ему, Паньке, не нужно и вредно его видеть. Панька отнёсся к этому заявлению с большим изумлением и, выпучив глаза на доктора, никак не мог спросить его о том, что хотел спросить, а потом повернулся и ушёл, чувствуя себя обиженным чем-то.

К Михайлу он решил не ходить, справедливо полагая, что там для него не может быть чего-либо приятного.

День за днём однообразно и монотонно проходили, не оставляя в Паньке сожаления о них и не зарождая в нём желания видеть их какими-либо иными, но наслаивая на его душу ряд за рядом скучные, серые думы. Со временем думы его стали принимать преимущественно характер метафизический, отвлечённый и почти не задевали реальной жизни…

Жизнь идёт так, как идёт, и люди живут так, как живут; очевидно, что иначе быть не может и, следовательно, всё это более или менее хорошо… Иногда ему, впрочем, приводилось слышать восклицания, вроде: «проклятая жизнь!» или

«собачья жизнь!», но они не останавливали на себе его внимания, во-первых, потому, что в большинстве случаев раздавались в похмельный день – понедельник, а во-вторых – «собачья жизнь» с его точки зрения не была худой жизнью; собаки ничего не делают, свободны, веселы и часто пользуются вниманием, дружбой и лаской господ людей.

Сначала его интересовали мастера и хозяин; он пытался уяснить себе их поступки и намерения, но это было бы очень трудно и для самых объектов его наблюдений, не только для него. Их отношения к нему совершенно погасили этот интерес, и он стал ещё более формален, равнодушен и автоматичен. У него выработался шаблон, по которому он проводил свой рабочий день, выработались особые движения и приёмы, и он стал похож на маленькую машину, заведённую раз навсегда до поры, пока она не проржавеет и не сломается.

Его, наконец, стали считать идиотом и имели на это право. Действительно, было что-то идиотское в его неторопливых, неодушевлённых движениях, в односложных ответах, в неумении оживиться и заинтересоваться тем, что было интересно для всех его окружающих.

А по воскресеньям, лёжа в своей яме в саду, Панька размышлял и фантазировал на разные темы, вроде такой: почему солнце, шатаясь по голубой пустыне небес, не сбивается с своего пути и не соскучится расхаживать, как часовой, вечно по одному и тому же месту? Иногда Панька думал, что, кабы его воля, он перекрасил бы это солнце в другой цвет,

или выпускал бы его на небо в одно время с месяцем, или что-нибудь другое в этом роде, не менее остроумное.

Через два года такой жизни он стал длинней и суше, отчего рябины на его лице выступили рельефнее.

За это время Артюшка вышел из разряда мальчиков в разряд подмастерьев и занял место рыжего Никандра, которому было предложено посидеть в тюрьме месяца три за какое-то удалое похождение. Колька Шишкин намеревался жениться и открыть свою мастерскую. Дедушка Уткин пил и жаловался на одышку и на то, что у него танцуют руки, мешая ему работать. Хозяин, присмотревшись к нему, стал напиваться дома и по трактирам ходил меньше, чувствуя, что деду уже не справиться с ведением мастерской.

Постепенно и Паньку стали посвящать в тайны чеботарного искусства, и он, под деспотическим руководством Артюшки, учился накладывать заплаты и набивать на каблуки кусочки кожи. Против ожидания мастерской и самого хозяина он оказался довольно толковым и спорым работником. Это как будто подняло немного его реноме.

Ещё через несколько времени ушёл Шишкин, Артюшке прибавили жалованья, Паньку посадили на его место и взяли нового мальчика.

И вот Панька получает три рубля в месяц, шьёт под неумолкающее пение весёлого Артюшки и стариковское ворчание Уткина и, по своему обыкновению, молчит, Хозяин, находя, что работы теперь немного, не нанимает ещё ма-

стера и, когда заказы скопляются, работает сам, что доставляет ему очень много удовольствия и даёт право ещё усиленнее выпивать.

– Житьишко!.. – часто говорит он, с шипением протаскивая сквозь кожу дратву.

– Работаешь да пьёшь – и будто бы живёшь!.. Штуковина, ребята! А между прочим, пора обедать. Мишка! скажи Семёновне, чтобы собирала на стол, а сам беги в кабак, на! тащи половинку бутылки! Дедушка, хватишь?

Дедушка довольно шевелит седыми усами, хозяин улыбается, а Мишка – плутоватый господин лет десяти, с курчавой чёрной головой и мышиными глазами – мчится за половинкой бутылки, выкидывая на бегу удивительные антраша и строя встречным прохожим весёлые гримасы.

Через десять лет такой жизни Панька представлял из себя малого очень внушительного объёма и вида. Он был высок ростом, немного сутул и очень мускулист; всегда засученные рукава его рубашки обнаруживали коричневую кожу рук, сплошь покрытых синеватыми узлами жил, а из-под длинных каштановых волос, когда он сидел, согнувшись над сапогом, сверкала здоровая, упругая шея, покрытая мягким пухом. На рябом лице густо пробивалась борода, и верхняя губа уже была украшена маленькими светлыми усами. Он не стал общественнее, оживлённее за это время, и его глаза смотрели из-под густых, всегда нахмуренных бровей ещё более недоверчиво и хмуро, чем десять лет тому назад.

Он всё так же пользовался у товарищей по мастерской репутацией старичка и человека, которому, по крайней его глупости, нимало не соблазнительны прелести выпивок, посещения разных весёлых местечек и тому подобные развлечения. К нему, впрочем, привыкли и уже более почти не задевали его насмешками, отчасти потому, что боялись его силы, а более потому, что всё равно его ничем не «прошибёшь», как они говорили.

Никому не было известно, чем он живёт, исключая из своей жизни всё то, чем жили они, и самому ему едва ли было известно это. Он казался тупым, неподвижным, не способным ни плакать, ни смеяться.

Хозяин, теперь совершенно седой, обрюзглый старик, однажды сказал про него, что он уже умер и оживёт не ранее того времени, когда архангелы возвестят час конца мира и когда, хочешь не хочешь, а придётся и ему встряхнуть костями; а до этого часа он преспокойно просидит тут в мастерской, буде она не разрушится и таким образом не заставит его выскочить вон.

Панька посмотрел на хозяина, желая, очевидно, что-то сказать ему, но ограничился тем, что бледно улыбнулся.

– И на этом благодарю покорно! – откланялся ему Мирон Савельич, ожидавший большего и исподлобья посматривавший на своего работника.

Как работником, он был очень доволен Панькой и, пожалуй, любил его, громко свидетельствуя об этом в пьяном

виде и в трезвом даря его вниманием большим, чем всех остальных.

Остальных было двое: Мишка, вороватый парень девятнадцати лет, и Гусь, сорокалетний кривой человек, с неимоверно длинной шеей, которая, по его словам, вытянулась у него по той причине, что в молодости он обладал удивительным тенором и пел в архиерейском хоре. Теперь он был лишён всякого голоса, если не считать за голос тягучий скрип, посредством которого он выражал свои мысли и впечатления.

Артюшка давно исчез с поприща сапожного ремесла и занимался сначала мелочной торговлей, потом был половым в трактире, потом однажды снова явился к Мирону, был им принят, украл пару только что сшитых сапог и исчез; на этот раз уж и из города.

Старик Уткин тоже давно ушёл в бессрочный отпуск. Как-то раз он сидел, шил и глубоко вздыхал. Последнее время он стал часто вздыхать, и с каждым днём всё тяжелее; на это не обращали внимания, так как это было с похмелья. Но в этот день он вздыхал, вздыхал и, наконец, положив молоток, которым разбивал кожу, посмотрел в потолок и спросил, ни к кому, собственно, не обращаясь:

– Позвать мне попа, али не надо?

На это тоже не обратили внимания, потому что и это слыхали раньше; а однажды был такой случай: Уткин, очевидно, нашёл, что одного попа мало, и настоятельно требовал, чтоб

его отправили к архиерею, и непременно в закрытой карете. Но после обеда обратили внимание на то, что он долго не вылезает из-за печи, где у него была постель, и, когда пошли будить, оказалось, что он умер.

Паньку очень поразило это. Он долго смотрел на всех глубокими, спрашивающими о чём-то глазами, но, очевидно, не сумел справиться с формой вопроса и промолчал.

Когда Уткина похоронили, Панька стал ходить на его могилу в сырой и мглистый угол кладбища, густо поросший бурьяном и скрытый от солнца густыми кустами бузины.

Там, сидя на земле, он смотрел сквозь отверстие в каменной ограде в даль, видел в ней будку Арефия, реку, поле и лес и вспоминал своё детство и своего молчаливого друга, который, через два года пребывания своего в больнице, умер от истощения.

На Паньку его смерть не произвела особенного впечатления, по крайней мере он не выразил ясно особенного горя или чего-либо иного.

Его воскресные прогулки охватили теперь очень широкий район. Он бросил яму в саду и, кроме кладбища, ходил на гору за город; с неё весь город был виден ему, как на ладони, и он подолгу смотрел на него и слушал, как он, большой и неподвижный, глухо шумит и как по его улицам смешно шныряют туда и сюда крошечные чёрные фигурки людей; ходил в лес и лежал там по целым часам, отыскав укромное местечко и прислушиваясь к мягкому шуму деревьев, а ино-

гда уходил в одну из пригородных деревень и шлялся по её улицам, присматриваясь ко всему внимательно и пытливо, или заходил в деревенский кабак и там, сидя по часу и по два за бутылкой мёда или пива, слушал разговоры мужиков.

Иногда к нему привязывался пьяный, но его молчаливая, суровая фигура странно действовала на других, менее пьяных, и они вступались:

– Брысь ты! Не трожь человека! Городской человек это! Пшол!.. – кричали они пьяному и при этом посматривали на Паньку подозрительно и враждебно.

Он расплачивался и молча уходил.

Однажды его догнал в дверях кабака тихий, предостерегающий шёпот:

«Сыщик!» Больше в эту деревню он не являлся.

Одетый в приличную поддёвку, шаровары и рубаху, подпоясанную шёлковым поясом с кистями, в фуражке и высоких сапогах своей работы, высокий, сильный, с серьёзным лицом, он мало походил на ремесленника, и вообще трудно было отнести его по внешнему виду к тому или другому классу людей.

Вот каким он был к тому времени, когда в его жизни произошло то, что его «приподняло, да и шлёпнуло», как выразился его хозяин.

– Эй ты, арестант! – обратился Мирон Савельев к мальчику Сеньке, выходя однажды утром в мастерскую. – Почисти сегодня самовар-то, а то он у тебя грязнее твоей рожицы! А

ты, Павел, сегодня поручиковы сапоги постарайся отделать, слышишь?

– Ладно! – сказал Панька, набирая каблук и не оглядываясь на подсевшего к нему хозяина.

Гусь, вздев на нос очки, тачал на машине голенище и наполнял комнату сухим и резким стуком.

В прокопчённую табачным дымом и запахом кожи мастерскую через раскрытые окна смотрело майское солнце и врывался с улицы шум шагов и грохот пролёток.

Мирон Савельевич посмотрел в окно, мимо которого мелькали разнообразные человеческие ноги, взял в руки кусок кожи, рассматривая его, прищурил глаза и заговорил старческим баском:

– А к нам постоялки интересные переехали. Две. Из ночных бабочек. Держи ухо востро, ребятишки!

Ему никто не отвечал, но это ничуть не смутило его, и после маленькой паузы он продолжал:

– Вот бы ты, Павлуха, и познакомился! Авось, хоть говорить-то выучился бы.

А то что за монах? Или ты в рай, может, собираешься? Не трудись, брат! сапожников туда не пускают. Надобности в них нет, все там босиком ходят, потому что и погода там райская. Н-да!..

– Ма-аррро!.. жно хароо-о! – раскатистым тенором пропели на улице.

– Так вот заведи-ка, Паша, деликатные отношения с по-

стоялками-то! а? Они бы тебя живо раскалили, переплавили и в новую форму отлили. Хоть у Соломона и сказано «не отдавай женщине сил твоих, ни путей твоих губительницам царей», но это не про нас писано. Они, эти самые женщины, весёлые штучки, право! Дать им ежели волю, сейчас бы они весь божий свет вверх тормашками переворотили. Ух ты, какой бал задали бы!

Первым долгом все бы замужние – мужей по шапке, а девицы – марш-марш замуж!

Превесёлая канитель вышла бы из этого!

Сегодня Мирон Савельев был в ударе и, не умолкая, «завирался», как называл его фантазии благочестивый Гусь, кончивший стучать машиной и глубокомысленно рассматривавший голенище, стараясь изобразить фальцетом концертное «Царю небесный». Вместо фальцета получилось змеиное шипение, и Гусь, потирая свою длинную шею рукой, ожесточённо отхаркивался и плевался по сторонам.

– Ты чего, Павел, такой красный? – вдруг, взглянув на работника, спросил Мирон Савельев. – И лоб в поту!..

– Не знаю! – глухо ответил Павел, проводя рукой по лбу и пачкая его чем-то чёрным.

– Ты не натирайся сажей-то, не поможет! – резонно заметил ему хозяин. – И глаза у тебя тово, мутные! нездоров ты?

– Да… нездоров… Очень неможется…

– Так что же? – подумал хозяин. – Ну, брось работать-то. Вон он дошьёт сапоги…

Иди и ляг… отдохнёшь.

Павел встал и, шатаясь, пошёл к двери.

– На погребе я лягу, коли что… – сказал он.

Идя двором, он чувствовал, что у него трясутся ноги, голова точно налита чем-то и кружится, а перед глазами в воздухе плавают красные и зелёные круги…

Воздух на погребе, сырой и тяжёлый, показался ему насыщенным густым паром.

Он лёг на мешок сена, положенный в углу на сырые половицы, и закинул руки за голову, предварительно расстегнув ворот рубашки и сбросив с себя тяжёлый, сшитый из мучных мешков фартук.

На погребе было темно, а сквозь щели в двери пробивались лучи солнца и резали тьму тонкими лентами, почему-то дрожащими; они то пропадали, то снова являлись.

На дворе глухо звучали чьи-то шаги, и в голове странно гудело, и било в виски что-то опьянявшее, и кровь быстрой и жгучей струёй кипела в жилах, отчего дышалось так трудно и дыхание, казалось, пахло сырой и горячей кровью. А перед глазами прыгали эти красные и зелёные пятна, то маленькие и сверкавшие, как глаза кошки, то большие и тёмные, как куски сафьяна, падавшие откуда-то сверху и кружившиеся в воздухе легко, как иссохшие осенние листья.

Павел лежал, широко открыв глаза, и старался не двигаться, боясь, что если он сделает это, то может упасть куда-то глубоко и долго лететь в этой глубине, полной горяче-

го, удушливого пара. Под ним и вокруг него всё колебалось, кружилось и издавало какой-то монотонный, тонко звенящий звук. Этот звук наполнял и голову Павла, надоедливо звеня в ушах.

Так прошло много странно медленных минут, когда вдруг в отворённую дверь хлынул солнечный свет и знакомый голос Сеньки звонко прозвучал:

– Обедать пойдёте, Павел Арефьич?

– Не хочу! – ответил Павел, и ему показалось странным, что теперь ещё только обед, и ещё более странным звук своего собственного голоса. Казалось, что с той поры, как он ушёл из мастерской, прошло так много времени, что голос его не должен бы звучать так же, как всегда, – глухо, твёрдо.

На погребе снова стало темно, свет странно выпрыгнул из него, и снова потянулись медленные минуты, наполненные этим надоедливым звоном в ушах. Павлу казалось, что что-то горячее и влажное засасывает его в себя, и он впал в забытьё, сквозь которое чувствовал жажду и всё более усиливавшийся недостаток воздуха.

– Тут какое-то чучело лежит…

– Видно, сапожник из подвала… Пьяный.

– Ну, пускай его…

Павел открыл глаза и слабо повернул свою тяжёлую голову к двери.

На погребе было светло, и около двери стояли две женские фигуры. Одна из них поднимала дверь в погреб, а дру-

гая стояла около неё с горшком молока в одной руке и кульком в другой. Она смотрела большими голубыми глазами в угол, где лежал Павел, и говорила подруге чистым и сочным грудным голосом:

– Ну, скорее возись, Катерина!..

– Поспеешь!.. попробуй-ка, подыми её сама! – отвечала Катерина, силясь поднять сырую и тяжёлую дверь. У неё голос был глуше и грубей.

– Смотри-ка, как сапожник вытаращил глаза-то на меня! У-у!.. – продолжала первая. – Точно съесть хочет…

– А ты ему плесни молоком-то в них.

– Чай, мне молока-то жалко…

Павел смотрел на них лихорадочно блестевшими глазами, и обе они казались ему плавающими в тумане далеко от него, так далеко, что когда он глухо прохрипел «дайте напиться», то совсем не надеялся, что они услышат его.

Но они услыхали, и та, с голубыми глазами и горшком молока в руках, бросив на пол кулёк и подбирая свободной рукой своё платье, направилась к нему в угол, тогда как другая, на полтуловища опустившись по лестнице в погреб, с интересом следила за ней.

– Что, видно, похмелье – не веселье? Катюшка, кинь комок снега, не молока же ему дать!.. – услыхал Павел над своей головой и снова прохрипел:

– Поскорее… пить…

А затем увидел, что голубые глаза приблизились к нему и

пристально смотрят в его лицо.

– Катюшка, рябой какой, у-у!.. Да он ведь не пьян!.. не пахнет вином-то…

Катерина, больной это, ей-богу, больной! горячий весь и дышит, как паровик!.. Ах черти окаянные, больного человека на погреб стащили!.. Ну свиньи!.. Пей вот, пей!

Давно ли ты тут валяешься? а? Родных-то нет, что ли? А в больницу чего не пошёл?

Присев около Павла на корточки и поддерживая у его рта кринку, в которую он вцепился дрожащими руками, жадно глотая молоко, – она осыпала его вопросами, очевидно, забыв, что ему нельзя говорить и пить в одни и то же время.

– Спасибо! – сказал он, наконец оттолкнув от себя кринку и снова уронив на мешок приподнятую голову.

– Кто это тебя сунул в такое прохладное место? Хозяин, что ли? Ну уж и собака, видно!.. – негодуя, говорила она ему и дотронулась рукой до его лба.

– Сам я… – ответил Павел, не сводя с неё глаз.

– Умён, очень умён!.. Давно ли это ты?

– Сегодня вот…

– Ишь!.. Видно, перемогался с неделю, да и слёг наконец… Ай, ай, ай!.. как же мы теперь будем? Катюшка! Что мы сделаем с ним?

– А что? В погреб на лёд его положить, что ли? Али к себе стащить? А то, может, ещё что? Дура ты! Иди-ка, иди!

Павел с трудом повернул голову и посмотрел на другую

женщину, всё ещё стоявшую на лестнице в погреб и с холодным любопытством смотревшую в его угол. Ему сделалось тошнее от её насмешливых слов, и он, вздохнув, перевёл глаза на ту, что была около него.

Она, не отвечая подруге и строго нахмурив густые брови, что-то соображала.

– Ты лежи! – решительно заговорила она, склоняясь к самому лицу Павла. – Лежи, а я сейчас уксусу да водки с перцем принесу, слышишь?

И вдруг, быстро встав на ноги, она исчезла.

Они обе ушли, не затворив за собою двери и ненадолго оставив за собою звуки спора, вспыхнувшего меж ними.

Павел мог бы подумать, что всё происшедшее только бред, но мягкий вкус молока во рту, облитая им рубашка и ясное ощущение на своём лице мягкой руки, тихо гладившей щёки и лоб, не позволяли ему сделать это. И вот он стал ждать, когда она снова придёт.

Им овладело странное любопытство, покрывшее собой все болезненные ощущения; страшно хотелось знать, что же будет дальше? Он никогда раньше не замечал за собой такого сильного желания знать, что будет впереди. Поворотившись на бок, спиной к двери, он уставился на двор своими воспалёнными болезнью глазами.

Она пришла скоро, неся в одной руке бутылку с надетой на её горлышко рюмкой, а в другой какую-то мокрую тряпку.

– Ну-ка, пей, – сказала она и, когда Павел протянул к ней

руку и открыл широко рот, сама вылила ему из рюмки чего-то, что сразу, как огнём, обожгло ему язык, нёбо, глотку и заставило закашляться.

– Ага! Славно? – торжествующе воскликнула она и моментально же приляпала ему на голову холодную мокрую тряпицу, издававшую скверный, кислый запах.

Павел молча подчинялся всему этому и не сводил с неё глаз.

– Ну, а теперь поговорим! Хозяин-то сквалыга? Пёс с ним! я сама тебя завтра свезу в больницу. Больно тебе? Ничего, потерпи! теперь, наверно, лучше будет.

Трудно говорить-то? а?

– Нет… могу… – сказал Павел.

– Не надо, молчи! доктора не велят говорить больным-то. Лежи, знай лежи!

И, очевидно, не находя больше ничего, что бы можно было сказать ему, она оглянулась кругом с видом человека, которому вдруг стало очень тошно.

Павел всё смотрел на неё и думал про себя, зачем она всё это сделала с ним?

Он ей чужой, как и она ему. Она, наверное, та постоялка, о которой давеча говорил хозяин. Как её зовут?.. И он решил, что нужно спросить её обо всём этом.

– Как… же… вас зовут? – тихо прошептал он.

– Нас? Наталья… Кривцова Наталья Ивановна. А что?

– Так…

– А!.. – неопределённо произнесла она и, осмотрев его с головы до ног, что-то тихо замурлыкала.

– А вас? – вдруг спросила она, прерывая свою песню:

– Павлом…

– А сколько вам лет?

– Двадцать.

– В солдаты, значит, скоро пойдёте! – заключила она и помолчала снова.

– У вас родных-то нет?

– Нет… подкидыш я, – тихо сказал Павел, чувствуя, что у него снова страшно начинает ломить голову и пробуждается жажда.

– А-а!.. – протянула она и, придвинувшись к нему ближе, с удивлением смерила его своими голубыми глазами, точно она не понимала, каким образом он, такой большой и плотный, может быть подкидышем.

– Дайте мне пить ещё! – спросил Павел.

– Вот, вот, сейчас! – заторопилась она и, достав кринку молока, живо подсунула под его голову руку, приподняла его и зашептала:

– На здоровье! Господи Иисусе!

Он пил и в упор смотрел в её лицо, раньше немного беспечное, а теперь такое задумчивое и хмурое. Это выражение показалось ему более близким и понятным и развило в нём желание говорить с ней.

– Скажите, зачем вы это делаете? – вдруг громко спросил

он её, как только кончил пить.

– Что я делаю? – недоумевающе оглянулась она вокруг себя и вопросительно остановила на нём свои глаза.

– Вот со мною… всё это… Сколько дали мне… уксус… сидите… говорите… и всё… Зачем? – проговорил Павел и испугался, видя, что она отодвинулась от него и как бы обижена и тоже испугана чем-то.

– Какой вы!.. Не знаю зачем… так! чай, вы человек… Али нет? Смешно даже, право! – и она недоумевающе пожала плечами.

Панька неопределённо тряхнул головой и, отвернувшись от неё к стене, замолчал.

В его больной голове бродили странные мысли… Первый раз в его жизни на него обратили внимание, и кто? одна из женщин, которых он, памятуя отношение к ним Арефия и наслушавшись о них в мастерской много далеко не лестных историй, – боялся, не любил и о которых давно уже тайно много думал, скрывая эти думы и от себя самого и негодуя на себя за них. Женщина – это вечный враг мужчины, враг, который только и выжидает удобного момента, как бы поработить и высосать кровь. Вот преобладающее мнение о женщине, которое ему приходилось слушать чаще других. Иногда! встречая красивую девушку, робко и поспешно бегущую по улице, Панька смотрел ей вслед и думал: «Какой же она враг, когда она такая птичка?» Его боязливое любопытство, которое он проявлял почти всегда, когда другие говорили о

женщинах, служило предметом немалых насмешек со стороны мастерской и хозяина. Ему насмешливо удивлялись и делали цинические предположения, страшно обижавшие его, а иногда перед ним каялись в увлечениях и хвалили его за стойкость. В общем, он видел, что женщина играет в жизни громадную, всеохватывающую роль, и никак не мог связать с этим выводом из своих дум и наблюдений другой вывод, гласящий, что женщина – враг, – вывод, который тоже подтверждался, но не его наблюдением, а общим голосом всех, кого ни спроси.

Хозяин однажды поучал его: «Баб только берегись, Павел. Бабе не поддавайся, – пролезешь сквозь жизнь. Все, кого ни спроси, скажут тебе, что тяжелей цепи, чем баба, нет на свете. Животное жадное, жить любит хорошо, а работать – мало и на живую нитку. Уж поверь мне, пятьдесят два года на свете живу и был женат два раза».

И вот она, эта страшная и таинственная баба, первая принесла ему приятное сознание, что он, угрюмый и непохожий на людей Павел, достоин её забот о нём, пришла к нему, сидит около него, одинокого и никому не нужного человека…

«Что она делает?» – подумал Павел и, тихонько повернувшись, посмотрел на неё.

Она сидела на полу и с задумчивым лицом смотрела в щель от непритворенной двери на двор… Лицо у неё очень доброе и красивое, мягкое, с хорошими голубыми глазами и сочными, пунцовыми губами.

– Спасибо вам за заботу! – тихо сказал Павел, невольным жестом протягивая к ней руку.

Она вздрогнула, взглянула на него, но руки не взяла.

– А я думала, вы заснули. Вот что, нужно ведь уйти отсюда. Непременно нужно уйти. Сырость. Нуте-ка, встаньте!

Павел не принял своей руки и снова настойчиво повторил:

– Спасибо вам за заботу обо мне!

– Ах господи! Вот уж право!.. Ну чего? какая забота! Жарко везде, вот я и рада посидеть здесь. Вставайте-ка!

Она была чем-то недовольна и, помогая ему вставать, отвернула от него своё лицо, точно не желая встречаться с ним глазами.

От движения Павел почувствовал, как в голову ему бросилась кровь и глухо зашумела там.

– Трудно мне!.. – прошептал он, чувствуя, как дрожат его ноги и как все кости ломит боль.

– Ничего, как ни то потерпите уж! нельзя здесь.

Поддерживаемый ею, он поплыл в каком-то тумане по двору и сквозь этот туман видел перед собой ехидно улыбавшиеся рожи хозяина и Гуся, стоявших на пороге мастерской.

– Не могу я больше!.. – хрипло сказал он и почувствовал, что падает в какую-то бездонную яму.

Первый раз в жизни Павел знакомился с больницей. Тошнотворно жёлтые стены, скверный запах лекарств, измученные и злые лица служащих, бесстрастные физиономии док-

тора и фельдшера, стоны, бред; капризы больных, серые халаты, колпаки и унылый, раздражающий слух звук шлёпанцев-туфель о каменный пол – всё это, дополняя одно другое, сливалось в серую гармонию уныния и беспомощности, безжизненности и тяжкой, неустанно сосущей сердце тоски…

Павел пролежал в бреду одиннадцать дней, и вот уже пятый день, как кризис миновал и он стал поправляться. За это время, по словам служащего, к нему приходил один раз хозяин, два раза Гусь и два раза сестра, однажды с подругой, а другой раз – одна. Там, в конторе, она оставила ему чаю, сахару, варенья и ещё чего-то в узелке.

Павел, когда служитель, рассказывая ему всё это, дошёл до сестры, удивлённо разинул рот, но вспомнил, что это не кто иной, как Наталья Ивановна, – вспомнил и почему-то очень обрадовался.

– Ишь какая!.. – прошептал он и почувствовал, что ему будет ещё более приятно, если он увидит её.

Но к нему, как к тифозному, посетителей не велено было пускать, и служитель объяснил, что это будет до той поры, пока его не переведут в пятый барак.

– В пятый барак допускаются и люди, а сюда, кроме нашего брата да докторов, никому больше нельзя.

Служитель сказал это с какой-то печальной гордостью своим правом перед людьми, а у Павла его сообщение вызвало вопрос – скоро ли его переведут в пятый барак.

– А это как нос. Теперь у тебя нос жёлтый и сухой, а вот он

скоро должен будет взбухнуть и покраснеть. Как это с ним случится, тут тебя отсюда и переведут.

Тифовых людей всегда по носу переводят. Нам это очень известно. Седьмой год маемся тутотка… привыкли.

Этот служащий был большой охотник поговорить, и так как Павел из девяти больных был один способен понимать и слушать, все же остальные находились в состоянии, совершенно не располагавшем их к ведению бесед, то Павлу приходилось единолично нести бремя общения с этим господином. Маленький, костлявый и рыжий, с меланхолически неподвижными серыми глазами, он в свободное время садился на койку Павла и начинал:

– Поправляешься? Вижу, вижу, идёт дело на лад. Скоро в пятый. Это хорошо, что ты похворал так. Тиф – болезнь великолепная, она очищает. До неё человек мюзгирькой мог быть и имел душу, наскрозь греховной пакостью пропитанную, а похворал ей – и чист! потому с бредом она. А во время бреду душа-то человечья исходит из тела и странствует по всем мытарствам… и поучается. Н-да… Положим, мрут с тифу многие, но это ничего. Это человеку необходимо. Предписано. Мрут-то и не от тифу, а оттого, что материя износилась… истёрлась от жизни-то, и душа требует другой костюм. Квартиру, значит, новую, а человеческому телу одна квартира – земля. Н-да!.. У тебя родственники не умирали? Нет? ага! а у меня одиннадцать умерло. Одного даже живым земля взяла.

Водопроводчик был. Кладёт это он трубу, а земля-то его рраз! и тю-тю Николка. Взяла.

Отрыли его, а он уж шабаш! Н-да!.. Она, земля-то, своё возьмёт всегда, от неё не увернёшься. Не убежишь. И в воду кинься – в землю попадёшь, и в огонь сунься – земля будешь. Бережёт она своё добро. Вот и меня скоро потребует. «Анисим, друг, пожалуй-ка в могилу!» И ляжешь. Ничего не попишешь, ляжешь, да и всё тут. Так-то, человечек! Дрягнёшь ногой, не хочу, мол, а она тебе на сердце дохнёт, и готово.

И нет уж тебя больше. И ничего нет. Потому что до той поры и мир жив, пока ты сам в нём ходишь…

Иногда ему удавалось говорить часа по два кряду. Он не интересовался вопросом, слушают ли его, а говорил свои мрачные речи, и его неподвижные глаза становились всё более неподвижны, пока не приобретали странный, тусклый оттенок, тонкой пеленой закрывавший его зрачки. Тогда его речь звучала глуше, отрывистей, фразы всё короче, и, наконец, он глубоко вздыхал и обрывался иногда на полслове, а в глазах его уже ясно светился холодный ужас.

На Павла его речи не производили особенного впечатления. Он почти никогда не слушал их, увлечённый своими думами, теперь освещёнными надеждой на что-то, что, он чувствовал, ждёт его впереди, но чего не мог себе ясно представить. Материала для построения воздушных замков у него было мало. Жизнь он знал со слов других и сам до сей поры от активного участия в ней сумел уклоняться. Но теперь он

всем существом своим понимал, что близится что-то новое, большое, не изведанное им и что оно должно будет создать ему новую жизнь. Дум, в прямом смысле слова, у него почти не было; он не имел достаточно слов, чтобы уметь ясно думать, но с той поры, как он очнулся и вспомнил взгляд голубых глаз Натальи Ивановны, много новых ощущений родились в его тёмной душе, а сообщение служителя о том, что она была уже два раза, родило их ещё больше.

До двадцати лет он не пользовался ничьим вниманием, но, как человек, не мог жить без него, а как человек, несколько исключительный, совершенно одинокий, ждал его с большей жаждой, чем всякий другой, хотя, может быть, совершенно инстинктивно, бессознательно и, конечно, не имея представления ни о том, каково оно есть, это внимание, ни о том, откуда и в какой форме оно придёт. И вот оно пришло. Оно пришло, и он твёрдо надеялся, что это ещё не всё и что впереди его ждёт целый мир новых чувств. А чисто животное ощущение того, как с каждым днём восстановляются его пошатнувшиеся болезнью силы, делало его ещё бодрей и ещё более разжигало в нём желание скорейшего наступления будущего.

И вот раз, когда его уже перевели в пятый барак, к великому огорчению служителя Анисима, терявшего единственного слушателя и находившего, что переводят его преждевременно, – ещё может и умереть, нос разбух недостаточно, – раз, когда Павел, лёжа на своей койке и следя за мухами, пу-

тешествовавшими по потолку, был погружён в свои смутные полудумы, полуощущения, над его головой раздался тихий возглас:

– Павел Арефьич!

Он дрогнул и испугался – это было так неожиданно. Она была тоже смущена чем-то.

– Здравствуйте!.. слава богу, перевели вас!.. вот я принесла тут… – и она совала ему в руки какой-то узел, вся красная и испуганно оглядывавшая исподлобья палату.

У Павла страх уже успел исчезнуть перед горячей радостью, покрывшей его щёки слабым румянцем.

– Покорно вас благодарю! покорнейше вас благодарю! Покорное спасибо! Очень рад я вам. Очень!.. Садитесь вот сюда или вот сюда!., вот тут очень удобно…

Благодарствую! Хорошее вы делаете дело… Будьте уверены в этом… – говорил он ей, сверкая глазами и весь преображённый.

Она ещё более растерялась от этого неожиданного ею приёма и всё ещё не переставала оглядываться по сторонам, посматривая то на того, то на другого больного и точно боясь среди них встретить кого-то, кто был бы ей очень неприятен.

– Ничего! я сяду. Не тревожьтесь. Вам вредно… – вполголоса говорила она, делая свои изыскания.

Охваченный энтузиазмом, Павел заметил это.

– Вы не беспокойтесь… Это всё хорошие больные люди… разговорчивые, вежливые.

Они ничего… Весьма приятные господа. Ах, как я вам рад!.. – закончил он свою рекомендацию чуть не криком.

Она уже успела осмотреть всю палату и, вздохнув, улыбнулась Павлу широкой, доброй улыбкой.

– И я очень рада, что вы поправляетесь. Я ведь уже была здесь. Без памяти были вы. Вы не тревожьтесь, пожалуйста! Вот тут я принесла вам… доктор позволил.

Покушайте! – и она принялась было развязывать узел.

Но Павел схватил его дрожащими от радости руками и заговорил, всё более вскипая радостью:

– Поверите ли, как ангел небесный вы мне, ей-богу!..

– Ох, что вы!.. – снова смутилась она.

– Нет, уж это так… Я не могу говорить. Не умею. Я всё молчу больше. Но ведь я понимаю же, позвольте!.. Вы кто такая мне? Чужой человек. И я тоже. Но вот вы первая пришли… И тогда на погребе… Из какой корысти? Я же один, весь тут, и никакой ласки не видал за всю жизнь… Вот в чём суть. Вы понимаете? Это очень, это очень хорошо, замечательно хорошо!.. – с жаром потряс он её руки.

– Вы успокойтесь. Это ведь вредно… кипеть так; меня могут больше не пустить…

– успокаивала она его, всё ещё немного растерянная, не понимая его отрывистых, несвязных речей, но прекрасно понимая, что это она именно принесла с собой столько радости ему.

– Не пустят?!. – с испугом воскликнул он и, посмотрев ей

в лицо, снова заговорил протестующим тоном: – Это нельзя. Вы сестра мне. Невозможно! Кто вам сказал? Вы – один мой человек. Д-да!.. Это пустяки! Я имею право!.. И даже жаловаться буду…

– Ах, какой вы чудак! На что жаловаться? Я только к слову, бунтовать вам нельзя… Смешной вы очень!..

Он теперь действительно казался ей немного смешным в своём экстазе, и она не могла объяснить себе, почему это он так уж расходился; но ей было всё более лестно и приятно сознавать, что причиной этому – она. Она становилась смелее и понемногу начала проявлять некоторый деспотизм, которому он беспрекословно подчинялся и который был ему приятен, так же как и ей, впрочем. Она заставила его жевать какую-то сдобную булку, поправляла подушки, расспрашивала его, как и что он чувствует, и даже, наконец, строго сдвинув брови, заговорила с ним сурово и внушительно. Её забавляло это, а он совершенно таял от её забот и внимания.

Он теперь умолк и только смотрел ей в лицо удивлёнными и радостными глазами, а она говорила ему о том, что вот он скоро выйдет и будет ходить к ней в гости, пить чай, гулять с ней в лесу, кататься в лодке, и много, много великолепных картин рисовала она ему…

Незаметно прошли приёмные часы, и она ушла. Павел на прощанье жалобно смотрел ей в глаза и просил её тихим шёпотом приходить.

Оставшись один, он закрыл глаза и живо представил её

себе: маленькая, пухлая, светло-русая, с розовыми щеками, весело и задорно вздёрнутым носом и с большими, ласковыми голубыми глазами, она была просто красива и свежа. Тёмненькая кофточка и такая же юбка, гладко причёсанные и заплетённые в косу волосы – делали её ещё более простенькой, милой и доброй. Когда она говорила, из-за сочных губ сверкали маленькие зубки, весёлые, блестящие. От неё веяло добротой прежде всего.

Павел смотрел, смотрел на нее и, перерождённый, удивляющийся сам тому, что он так сразу и много говорил с ней, и тому, что она так хороша и так близка ему, – умилился и крепко заснул.

Его следующий день весь прошёл в каком-то радужном тумане. Он всё представлял себе вчерашнюю сцену и улыбался, и шептал про себя по сту раз «покорнейше благодарю!», выражая этой благодарностью длинный ряд самых разнообразных представлений.

Завтра опять приёмный день, и она могла придти. Он представлял себе, как это будет, и придумывал фразы, которые он скажет в похвалу ей… И вместе с тем представлял, что он уже выздоровел, катается с нею по реке на лодке и рассказывает ей про Арефия…

Наступило это «завтра», и он с лихорадочной дрожью во всём теле жадно смотрел с утра до вечера на двери, ожидая, что вот сейчас в них покажется она и, как в первый раз, начнёт пытливо осматривать больных и потом сядет к нему на

койку и они будут разговаривать… Но день прошёл, и она не пришла.

Павел долго не мог уснуть ночью, пытаясь ясно представить себе то, что могло её задержать; но не успел в этом и наутро проснулся с сильной головной болью, в тяжёлом, апатичном состоянии.

Весь следующий день он пролежал молча, неподвижно, ни о чём не думая, ничего не представляя и не ожидая. Прошло ещё много приёмных дней, а её всё не было.

Павел лежал и припоминал всё то, что он слышал дурного о женщинах, припоминал и, явно насилуя себя, старался навязать всё это своей знакомой. Но к ней не шло как-то ничто дурное. Он представлял её себе грязной, пьяной, воровкой, ругающейся с ним, осыпающей его насмешками, но она, несмотря ни на что, всё-таки, в конце концов, оставалась простенькой, красивой и доброй.

Дни текли. Он уже гулял по коридору, окна которого выходили на улицу, и подумывал о выписке, останавливаясь у окон и чувствуя непреодолимое желание ходить там по залитым солнцем улицам, среди всех этих здоровых, суетливых и озабоченных людей.

Каждая женщина, шедшая по направлению к больнице, вызывала в нём лёгкую дрожь надежды… С полчаса он напряжённо смотрел в конец коридора, не появится ли там она; она всё не появлялась, и Павел, чувствуя себя обманутым, тосковал.

Но однажды раздался возглас служителя:

– Павел Гиблый! в контору!

Он быстро бросился туда.

– Вот, получите! принесли вам! – сказал длинный и худой помощник смотрителя, поводя своими чёрными усами и подавая Павлу бумажный пакет.

– А… кто это принёс? – спросил Павел, дрожащей рукой принимая пакет.

– Старик, который сказал…

Павел угрюмо тряхнул головой и протянул руку, чтоб положить пакет на стол против фельдшера.

– … что он ваш хозяин, и женщина с подвязанной щекой. Молодая.

Павел вздрогнул и принял руку с пакетом обратно.

– Очень у ней подвязана щека-то? – спросил он.

Фельдшер высоко поднял брови и усы и переспросил:

– То есть как это – очень подвязана щека?

– Нет, я ничего!.. Покорно благодарю!.. Зубы болят у ней, видно!..

– Гм? – качнул головой фельдшер. – Возможно, что и зубы болят… Ну-с?

– Ничего она не говорила про меня? – с некоторым трепетом и тихо осведомился Павел.

– Говорила. «Он, говорит, дурковат у меня немного, так вы уж извините его». Можете идти. Я извиняю вас.

Павел повернулся и вышел, понимая, что над ним смеют-

ся. Ему показалось, что он знает, почему она не приходила всё это время: просто у неё болели зубы; но вот, как только стало немного легче, она и пришла. Добрая какая!..

Через неделю после этого он снова стоял в конторе перед помощником смотрителя, который рылся в какой-то книге и щёлкал на счётах.

– Ваши вещи вы все получили? – спросил он Павла и, не дожидаясь его ответа, добавил: – Хорошо. Идите. До свидания!

Павел поклонился и вышел на улицу, а через полчаса, опьянённый солнечным светом и движением, с туманом в глазах и кружащейся головой, входил в мастерскую.

– Ба!.. Пришёл! Молодчина! – встретил его хозяин. – Здравствуй! Усох ты здорово! Ну ничего, зато вон улыбаться выучился.

Павел действительно осматривался вокруг себя и улыбался. Его наполнило хорошее, мягкое чувство, когда он отворил дверь мастерской и стал на пороге. Всё тут было так хорошо знакомо и родственно. И эти старые, прокопчённые стены тоже как будто улыбались ему белыми пятнами, неизвестно как уцелевшими от чёрного слоя копоти…

Вон в углу его постель и над ней две картины – Страшный суд и Путь жизни…

Мальчик Мишка раскрыл рот и с выражением живейшего удовольствия на испачканном лице уставился ему в глаза живыми чёрными глазами. И хозяин, очевидно, рад тому,

что он пришёл.

А хозяин всё говорил:

– Ну-ну, проходи, садись, отдыхай! Устал, чай. А я тут вдвоём с Мишкой орудую.

Гусь запил. Другого взять не хотелось: полагал, что вот-вот ты придёшь. Ну, вот хорошо. Теперь мы застрочим, ой люли как! Я, брат, опять втянулся в работу-то. И не пью даже вот сколько уж время!.. То есть пью, конечно, но не так, чтобы уж вплоть до чёртиков.

Павел слушал и чувствовал себя всё более приятно и оттого, что хозяин так много и весело говорит, и оттого, что в его словах и тоне было что-то родное и хорошее, что падало ему, Павлу, на сердце так тепло и мягко.

– Теперь мы с вами, Мирон Савельич, начнём работать! – с уверенностью и одушевлением сказал он, когда хозяин кончил и стал примеривать кусок кожи к дыре на старом голенище. – Покорно вас благодарю, что вы приходили ко мне! Мне это очень дорого! – тепло сказал он и прибавил: – Как я совсем одинокий человек…

– Фью-ю!.. – свистнул хозяин, перебивая его. – Вон как говоришь ты теперь!..

Ах, братец ты мой! Вот уж именно нет худа без добра! До болезни-то ты бы скорее лопнул, чем сказал такие слова. Важно! Пора, пора! Ещё, брат, вот что! Ты сходи к этой Натаньке. Сходи. Хоть она и такая, но, однако, её надо тебе благодарить.

Знаешь ты, как она о тебе заботилась? Беда! Чуть не каждый день шастала ко мне – «были? ходили? видели?..» Да, брат, душу-то она ещё не прогуляла. Душа у ней человеческая, не в обиду будь ей сказано! Поди ж ты вот! девка такого поведения – и вдруг! Прошедший раз мы с ней клюкнули малость за твоё здоровье, какие она, братец мой, речи говорила!.. у-у-у!.. то есть, вот ей-богу, сроду не слыхивал! «Ведь на нашу сестру, говорит она мне, как смотрят! как на свинью и паршивую собаку. Верно?» – «Верно, мол».»А он, говорит, – ты-то значит, – встретил меня, как родную, вот что! Понял, дедушка Мирон?» – «Понял, мол». – «Ну, так и должна я ему за это заплатить тем же». Скажите, как просто! а? Чудно это малость и как будто бы не по жизни совсем. Не похоже на настоящее… верное… на то, что мы все… ты и я…

Но дальше этого Мирон Савельич не мог пойти, споткнувшись обо что-то невидимое Павлу, который слушал всё это с выражением глубочайшего внимания и тихой радости на своём рябом лице. Он ещё долго смотрел в рот хозяина, когда тот, уже окончательно убедившись в невозможности оформить свою мысль, широко махнул рукой и умолк…

Павел тоже молчал; но, чувствуя, что ему необходимо нужно так или иначе выразить хоть немножко из того, что так приятно наполняло его грудь и туманило голову, он, не найдя ничего лучшего, снова начал благодарить.

– Очень я вас благодарю, хозяин, за все ваши слова! Так

благодарю!.. – и он развёл руками, не имея возможности сказать, как именно он благодарит. – Хворость эта самая на пользу мне пошла. Это вы верно сказали. Волком я себя понимал до неё… а теперь вижу, что человек. И даже вот мне оказывают внимание… По-окорнейше благодарю!.. – и он как-то задыхался от наплыва желания говорить и высказываться.

– Ну, это, парень, пустяк! Положим, был ты до болезни очень не фарштейн!

Неудобным, тяжеловесным человеком был, это твоя правда. Но надо тебе сказать, что неизвестно мне, как лучше жизнь проходить – сторонкой от людей или заодно с ними.

Приятную компанию эти самые люди редко могут составить, и гулять ты с ними – гуляй, но ротик держи закрытым и пальчики сжимай в кулачок на всякий случай. Сердиться, ежели тебя они обтяпают, не следует, потому – каждый жить хочет, а жить-то куды как тесно и другого нельзя не задеть; но не следует и поддаваться. Ты лучше сам из кого ни то соки выжми, чем свой бок другому подставлять. А пуще всего берегись баб! Это – т-такие ехидны, что и не заметишь, как она тебя ужалит. Улыбнётся тебе – раз, поцелует – два, похвалит – три; четыре – ты уж и работник на неё, пять – у тебя уж и душа ноет, воли просит, но дудочки, миленький! Не такие у них, у кошек, лапки, чтоб тебя выпустить! И умрёшь ты раньше смерти раз пяток-другой!..

Мирон вдохновился и философствовал вплоть до вечера,

не переставая работать.

Павел сидел против него и внимательно слушал, тоже что-то ковыряя шилом.

Но внимание к речам хозяина не покрывало собой некоторой неотступной мысли, всё время копошившейся в его голове.

– Шабаш! – сказал Мирон, кончая вместе и философствовать и работать. – Ложись-ка ты, брат, отдыхай. А то – на улицу иди, дышать.

– Нет, я лучше к ней… – смиренно проговорил Павел, потупляя глаза.

– Это к Наталье, значит? Гм!.. Ну что ж, иди! – задумчиво сказал хозяин.

Но когда Павел выходил из мастерской, он ещё крикнул ему вдогонку:

– Смотри же, поглядывай, как бы она тебя не женила!.. Хе-хе!.. И не заметишь, как это случится. Они – ловкие!..

На Павла этот крик подействовал неприятно. Знает он её, и совсем она не похожа на всех других. Пробовал уж он её очернить – и не пристало ничего. Она просто добрая – и больше ничего.

Занятый этими протестующими думами, он не заметил, как взошёл по лестнице и очутился на чердаке у маленькой, неплотно притворённой двери. Он почувствовал себя неловко и не решился войти, не кашлянув прежде. Но его кашель, хотя и был громок, не вызвал никаких признаков жизни за

дверью.

«Спит, видно!» – подумал он; но не ушёл, а продолжал стоять, заложив руки за спину и тайно надеясь, что вот-вот она проснётся.

С улицы доносился глухой шум. От раскалённой солнцем крыши на чердаке было душно и пахло нагретой землёй и ещё чем-то, щекотавшим ноздри.

Вдруг дверь тихо отворилась. Он отступил, почтительно сняв с головы фуражку, низко поклонился и, не поднимая головы, ожидал, что вот сейчас она скажет ему что-нибудь.

Но она всё не говорила. Тогда он поднял голову и разинул рот от удивления. Перед ним никого не было, и в комнате тоже было пусто. Очевидно, дверь отворилась оттого, что в открытое окно пахнул ветер.

Он заглянул в комнату. Там всё было разбросано, не прибрано, постель, стоявшая у стены, смята, на столе перед ней стояли грязные тарелки с какими-то кусками и окурками папирос, две пивные бутылки, самовар, чашки; на полу валялась красная юбка, башмак и смятый букет бумажных цветов…

Павлу почему-то стало грустно при виде всего этого, и он хотел уйти, но вдруг, повинуясь какому-то внутреннему толчку, перешагнул через порог и вошёл в комнату. Это была маленькая конурка, с потолком в виде крышки гроба, оклеенная дрянными голубыми обоями; местами они оборвались и отстали от стены; это, в связи с общим беспорядком ком-

наты, делало всю её такой странной, как будто бы она была вывернута наизнанку.

Павел глубоко вздохнул, прошёл к окну и сел на стул.

«Зачем же я не ухожу?» – подумал он и ощутил в себе совершенное отсутствие даже намёка на то, что ему хотелось бы уйти. «Ведь как и уйдёшь? Её нет, квартира не заперта, и вот всё разбросано… Она, наверное, недалеко, тут где-нибудь…»

И он посмотрел в окно, как бы надеясь увидать её.

Из окна открывался странный вид на город. Собственно, города не было, были только крыши и меж них тут и там – зелёные острова садов.

Зелёные, красные, бурые крыши, цепляясь одна за другую, казались беспорядочно брошенными кем-то. Иногда из них стрелой вздымался к небу острый шпиль церкви, увенчанный крестом, чуть-чуть освещённым последними лучами заходящего солнца. Там, на окраине города, уже родилась тонкая дымка вечерней мглы и тихо так плыла над крышами, делая их мягче и темней… Пятна зелени садов сливались с домами, и Павел, наблюдая, как родится и развивается вечер, кутая своими тенями землю, чувствовал, что ему грустно и сладко… А вдали, за городом, где небо было темнее, блестели две звезды, одна, большая красноватая, блестела так весело и смело, а другая, только что вспыхнувшая, боязливо вздрагивала, то скрываясь, то появляясь вновь.

Хорошо быть таким человеком, который мог бы понимать

всё это – вечер, небо, звёзды, засыпающий город и свои думы; который бы знал – зачем всё это нужно, какая во всём этом скрыта дума и душа, и который жил бы вровень с этим пониманием и знал бы, зачем и сам он нужен и какое тут его место. Может быть, тогда тот человек мог бы сделать всю жизнь такой же тёплой и мягкой, как этот вечер, и сроднил бы людей до того, что каждый человек видел бы в другом самого себя и не боялся бы его…

Увлечённый своими думами, Павел сидел у окна, не замечая времени, хотя оно так заметно проходило перед его глазами. Он тогда понял, что сидит тут уж давно, когда на дворе раздался чей-то крик и он, взглянув из окна вниз, увидал, что уже совсем темно и что всё небо блестит звёздами. Ему хотелось спать, и он, вздохнув, пошёл к двери, но, выйдя из неё, услыхал на лестнице тяжёлые, неровные шаги и остановился.

По лестнице грузно подымалась какая-то фигура. Она странно всхлипывала, как бы плача. Павел отодвинулся к стороне и стал за дверь.

– Черти… – пробормотал пьяным голосом тот, кто шёл к Наталье.

Павел думал, что это идут к ней, и был очень поражён, когда узнал, что это она сама. Ещё издали он услыхал запах водки, а когда она поравнялась с ним, то увидал, что вся она растрёпана, измята и еле идёт. Ему стало жалко её, но он почему-то не решился выйти и помочь ей – и остался за две-

рью. Вот она толкнула дверь плечом, придавив ею Павла, и вошла в комнату, где сразу раздался звон стаканов и стук падавших бутылок.

– Пошло… всё… к чёрту… – услыхал Павел пьяный голос, в котором всё-таки ясно слышались обида и зло.

Он стоял неподвижно и, притаив дыхание, слушал, хотя ему было тяжело и неприятно это.

Вдруг раздался плач и протестующие выкрики:

– Избил… подлец!.. за что избил?!. Я могла требовать… мои деньги!.. могла!.. жулик! три рубля… мне ведь нужно!.. А, ты думаешь, такая она… и надо бить… можно бить!.. нет, ты врёшь!.. врёшь!.. врёшь!.. я тоже… чувствую! ну, я не человек… ну да… не человек… а такая… но ведь я имею право… моё… полное право… требовать… три рубля!!.

Она выкрикнула эти «три рубля» так визгливо-звонко и с такой пьяной злобой и тоской, что Павел почувствовал как бы удар от этого крика и быстро пошёл из-за двери вон к лестнице, сам полный горькой тоски и злобы против кого-то. Когда он сходил с последней ступеньки, наверху послышался стук от падения чего-то и звон разбитой посуды.

– Это она стол, значит, уронила… Совсем… – громко сказал он, стоя уже на дворе. Он не знал, что нужно ему делать, но чувствовал, что что-то нужно. Стоя среди двора с фуражкой в руке, он прислушивался, как сильно бьётся его сердце и как тяжело и скверно душит что-то в груди… У него мутилось в голове и не было ни одной ясной мысли.

– Подлецы! – прошептал он и стал припоминать все когда-либо слышанные ругательства, повторяя их злым шёпотом. Потом, когда от этого ему стало немного легче, он вышел за ворота и сел на лавку, плотно прислонясь к стене.

Ему всё казалось, что по тёмной, пустынной улице ходят, шатаясь из стороны в сторону, пьяные женские фигуры и что-то зло бормочут… Тоска всё сильней сосала ему грудь. Он встал и ушёл в мастерскую.

– Ну что, Павлуха, как дела? – спросил его утром хозяин и, тонко улыбаясь, пристально уставился на него глазами. – Был, благодарил? а?

– Не… было её дома… – хмуро ответил Павел, стараясь не встречаться с глазами хозяина.

– Ой-ли? Ну, пусть так. Запишем, что не было, мол, дома! – И он сел за работу против Павла.

– Гуляет сильно девчонка… – снова заговорил он. – А жаль. Сердечная такая.

Право же, жаль! Ну, только это и можно, что пожалеть. Больше ничего не станцуешь.

Дело решённое.

Павел молчал, лихорадочно продёргивая дратву сквозь кожу. Хозяин что-то запел себе под нос.

– Мирон Савельич! – обратился к нему Павел после продолжительного молчания.

– Ась? – вскинул головой хозяин.

– Никак уж ей не выбиться из такой колеи?

– Ей-то? Гм!.. н-да! надо полагать – нет, уж не выбиться. А впрочем, дело тёмное. Темно, как у трубочиста за пазухой, друг ты мой, н-да! Ежели бы нашёлся парень этакой, знаешь, железный, да её бы в ежовые рукавицы взял, ну, тогда ещё можно бы спорить, кто выше прыгнет. Но только дураки теперь повывелись. Потому – невесты этой самой теперь везде – что мухи летом. И настоящей невесте хороших цен нет. Гусь, например, женился, взял двести рублей за ней, да сама она херувимская мордочка и грамотная. Конечно, она его надувать будет, потому – чего ж он? Ему уж около пятидесяти, а ей семнадцать. И это за Гуся пошла, да ещё двести дали – только бери! У-ух, много теперь невесты! дешёвая стала. А всё почему? Жить, душенька, тесно, народу прорва родится. Запретить бы жениться-то, годов на пяток-другой. Вот было бы ловко! Право, ей-богу! а?.. – и, увлечённый своей мыслью, старый Мирон начал развивать её детально.

Панька молчал, и можно было думать, что он внимательно слушает. Но вдруг, в момент, когда Мирон с особенным успехом одолел какую-то трудность в своём проекте искусственного уменьшения народонаселения, Панька произнёс:

– А ежели бы, Мирон Савельич, подарок сделать?

– То есть это ей-то? Наталье, значит?.. – после продолжительной паузы спросил хозяин, уставив глаза в потолок и немного обиженный тем, что Павел прервал его фантастические излияния. – Можно и подарок, что ж! Она ведь тратилась на тебя.

Он снова замолчал и, помолчав, замурлыкал.

После обеда оба они опять сидели друг против друга и усердно ковыряли кожу.

День был жаркий, и в мастерской, несмотря на открытые окна и отворённую дверь, было душно. Хозяин то и дело вытирал пот со лба, ругал жару и вспоминал об аде, где, наверное, температура градусов на десять ниже и куда он охотно бы переселился, если бы не обещал сделать к сроку эти проклятые сапоги.

Павел сидел с наморщенным лбом и плотно сжатыми губами и, не разгибая спины, шил.

– Так ты говоришь, хорошая она девка-то всё-таки? – вдруг спросил он хозяина.

– Эк тебе далось! Ну, хорошая. Так что же? – с любопытством сказал хозяин, внимательно взглядывая на склонённую голову Павла.

– Ничего! – ответил тот кротко.

– Ну, это мало ты сказал! – усмехнулся хозяин.

– А что ж я могу ещё сказать? – В тоне Павла звучало печальное недоумение и ещё что-то такое же унылое и тихое.

Они помолчали ещё.

– Пропадёт, значит, она!.. – Это походило на робкий вопрос, но Мирон не ответил ни звука.

Павел подождал ещё немного и вдруг протестующе заявил:

– Ну, уж это непорядок! Хорошая, и вдруг должна пропа-

дать! Очень обидно!..

– и он толкнул ногой стол.

– Фью-ю! – свистнул сквозь зубы хозяин и саркастически засмеялся. – Зелёная ты, Павлуха, голова!.. Чувствую я, что уж быть бычку на верёвочке. Э-хе-хе!..

Вечером, после работы, Павел вышел в сени мастерской и, став в двери на двор, стал смотреть в окно чердака. Там был уже зажжён огонь, но движения не было.

И он долго стоял и ждал, не появится ли в окне её фигура, но не дождался и, выйдя на улицу, сел у ворот на лавку, где сидел вчера ночью.

У него из ума не выходило всё то, что говорил за день хозяин о Наталье, и он весь был наполнен грустным чувством жалости к ней. Если бы он ближе знал жизнь и умел мечтать, он бы мог строить разные планы спасения этой девушки, но он почти ничего не знал и не умел, и все мысли его сводились к представлениям о ней – на погребе, о ней – в больнице и о ней – пьяной там, в ободранной комнатке чердака.

Он переставлял её с места на место, брал её, пьяную, с чердака и вводил в больницу к своей койке; тогда у него выходила бессмысленная и нелепая картина, ещё более увеличивавшая тяжесть его настроения; но когда, наоборот, он представлял себе её на чердаке такой, как она была у него в больнице, ему становилось легче, и он с улыбкой оглядывался вокруг по тёмной улице и смотрел в небо, блиставшее золотом звёзд.

В нём как бы билось две волны: одна – тёплая и оживлявшая его, другая – холодная, тоскливая, окутывавшая его тяжёлым мраком. Он так много думал в больнице о Наталье и так сроднился с ней в своих думах!.. Она была первым человеком, приласкавшим его, позаботившимся о нём, и его пустая, одинокая жизнь, жизнь без точки опоры, без друга, – сразу и вся сконцентрировалась около неё, этой девушки, которая была так добра к нему и должна была погибнуть.

Он вспомнил те чувства, которые волновали его, когда она сидела около его койки, и хотел бы, чтоб они, уже побледневшие от времени, возродились в его груди снова в той же силе, как тогда.

– Ах!.. Это вы?! Вышли? – услыхал он громкое восклицание и, быстро обернувшись, увидал, что та, о которой так много думал, стоит в воротах, почти рядом с ним. Голова и лицо у неё были плотно закутаны серой шалью, из которой, он видел, блестели голубые большие глаза.

– Вчера вышел. Здравствуйте! – ответил он и, не зная, что бы еще сказать, стал молча смотреть ей в лицо.

– Худо-ой какой вы стали, ай, ай, ай!.. – сожалея, протянула она и, поправив шаль рукой, ещё больше закрыла лицо.

– И вы тут хворали, слышь? – спросил Павел.

– Я? Не-ет… то есть да, я и теперь вот не совсем здорова. Зубы болят очень… Давно уж.

Павел вспомнил, что там, на чердаке, когда она шла мимо него, у неё щека не была завязана…

– Теперь ничего? вы оправились? Работаете уж, чай? – проговорила она, помолчав.

– Работаю. Сразу вчера начал.

– Ну, прощайте! – И она протянула ему руку. Павел взял руку, крепко сжал её и, чувствуя, что вот сейчас она уж и уйдёт от него, заговорил быстро:

– Погодите малость! Пожалуйста!.. Сядьте вот… Я хочу вас очень благодарить… Покорно благодарю, что вы так обо мне заботились!..

– Ну, что это вы, право! такие глупости!.. Приходили бы вы ко мне чай пить когда… Днём, в обед вот, а вечером-то не бываю я дома. Приходите, коли захочется! а?

– Я приду. Очень приду. С удовольствием! Благодарю вас!

– Ну, я побегу в лавочку. Прощайте! – И она побежала.

Павел дождался её возвращения, в смутной надежде, что, может быть, она, возвратившись, снова и уж сейчас же пригласит его к себе; но она пробежала мимо, не взглянув на него, и ему показалось, что она несёт под шалью бутылки.

Он вздохнул, посидел ещё немного и ушёл спать, полный дум о ней и полный грусти, долго не дававшей ему заснуть.

Дня через два он всходил по лестнице к ней на чердак, неся в руках свёрток бумаги, в котором был завёрнут платок, купленный за полтора рубля. Дверь была отворена, и она, увидав его, сразу бросилась куда-то, схватила платок и живо закутала им голову.

– А!.. это вы! Вот хорошо! А я собираюсь чай пить, здрав-

ствуйте, здравствуйте!

Он молча совал ей в руки свой подарок и тихо бормотал:

– Вот это вам… в благодарность…

– Что это? Зачем? Платок!.. О какой!.. Ах вы, ми-илый!.. – протянула она и сделала к нему движение, простирая руки и точно желая обнять его, но удержалась и снова стала любоваться платком.

Павел видел, что его подарок нравится, и сиял, глядя, как она, сверкая глазами из-под шали, окутывавшей ей, как и вчера, лицо, – переворачивает его перед собой то так, то эдак; и вдруг, повинуясь импульсу женского кокетства, она сбросила с головы шаль и, отвернувшись от Павла в сторону, к стене, на которой висело маленькое зеркало, взмахом обеих рук ловко накинула себе на голову подарок.

– Ой! – ахнул Павел.

У неё под обоими глазами сияли громадные, багровые подтёки и нижняя губа, очевидно, сильно разбитая, вспухла.

Она спохватилась, но, видя, что уже поздно, грузно села на стул, закрыв лицо белыми, полными руками, и как-то странно согнулась.

– Ну подлецы!.. Как били!.. – тяжёлым вздохом вырвалось у Павла.

Наступило тяжёлое молчание. Павел стоял и растерянно оглядывался, лишённый и языка и способности что-либо соображать и полный тяжёлого чувства негодования и тоски, исковеркавшего его рябое, но вдумчивое и осмысленное ли-

цо в какую-то пёструю, красную с жёлтым, маску, уродливо жалкую и больную.

На столе кипел самовар, вылетали тонкие, кудрявые струйки пара, бесследно тая в воздухе, и слышался странный, пискливый звук, точно это посвистывало какое-то маленькое и злое животное, насмешливо и холодно торжествуя над чем-то.

Комната была прибрана и не казалась уже вывороченной наизнанку, а была просто бедна, бедна до того, что никак уже не могла быть красивой, хотя её обитательница и пыталась сделать её такой, завешивая дыры на обоях дрянными яркими картинами и заставив грязный и сгнивший подоконник тремя горшками фуксии. Гробообразный потолок этой комнаты положительно давил и угнетал своей формой; всё казалось, что вот он сейчас опустится на голову и вместе с тем в комнате станет темно, как в могиле…

Павел смотрел на свою знакомую и видел, что у ней тихо вздрагивают плечи, а грудь колышется тяжело и бурно, но не понимал, отчего это…

– Уж я… пойду. Прощайте! – вздохнул он, но не двинулся с места.

Зато он поднял её. Она вдруг отняла руки от лица, вскочила со стула и охватила его за шею.

– Нет, уж, пожалуйста, оставайтесь теперь!.. Ведь теперь уж всё равно… видели вы это… – Она провела рукой в воздухе перед лицом. – Ах, не хотела я вам показывать этот

срам!.. Очень не хотела! Вы такой хороший, добрый, ласковый, не… не… пристаёте… не шутите, как все!.. Вчера я, как увидала вас, то очень обрадовалась!..

Ах, думаю, выздоровел!.. И хотела вас позвать к себе, но подумала, как я ему покажу свою битую рожу!.. Ведь он уйдёт, плюнет на меня, и всё тут! И не позвала. А вот ты… вы какой, только пожалели меня… Другой бы посмеялся, а вы нет… Милый вы!.. а?.. Почему вы такой милый?!.

Ошеломлённый этим взрывом стыда, тоски и радости, Павел глухо забормотал, стоя против неё и глядя в пол:

– Нет, я, знаете, не очень… То есть я совсем даже плох. Дубовый какой-то.

Ничего сказать настоящее не могу. Вот вас мне очень жалко… и как родная вы мне, но как это сказать вам, – не знаю! Не могу я даже и слов таких набрать. И ни от кого… никогда… таких слов, какие бы мне… нужно по настоящему времени… не слыхал за всю жизнь…

– Голубчик вы какой! Сам же говорит хорошие такие слова, а думает, что не умеет говорить их! Ну ладно, всё-таки надо сесть. Идите вот сюда, рядом со мной.

Давайте пить чай! Да! Погодите, дверь запру, а то вломится какой ни то осёл. Ну их всех, к чёрту! Провались они в тартарары! Ах, кабы вы знали, какие из вашего брата поганцы есть!.. ба-атюшки!.. тошнит, как встретишь после! То есть такие сквернавцы, такие подлецы!..

Она воодушевилась и не щадила ни «своей сестры», ни

«вашего брата». У ней оказался большой критико-публицистический талант, горячий, образный стиль, немного резкий, правда, – но это только усиливало впечатление. Она бросала свои посылки, как камни, складывала их в выводы, и, хотя эти выводы были немного парадоксальны, они были сногсшибательно тяжелы.

Пред Павлом в ярких красках вставала жизнь, о которой он не имел почти никакого представления, и это была такая проклятая, скверная, мучительно нелепая жизнь, что у него выступил на лбу холодный пот от ужаса пред ней и перед рассказчицей…

А рассказчица была действительно ужасна в своём вдохновении. Её глаза, от синяков под ними, были страшно глубоки и сверкали дикой радостью и мстительной злобой.

Её лицо почти всё обратилось в глаза, и только распухшая нижняя губа, обнажая мелкие и острые зубы, мешала иллюзии. Она говорила с холодной тоской и насмешкой о себе, с мстительным восторгом о других, если они были из «вашего брата» и если с ними совершалось что-либо скверное, и с злобным сожалением, если им что-либо удавалось.

Иногда она смеялась, иногда плакала, иногда сливала и смех и слёзы в одну тоскливую ноту. И, наконец, когда она, утомлённая и охрипшая, перестала, то сама удивилась эффекту своей речи.

Павел совершенно потерял человеческий образ. Он смотрел на неё страшно вытаращенными глазами и свирепо оска-

лил зубы, стиснув их так крепко, что у него далеко выдались скулы и всё лицо стало похожим на морду голодного волка. Он вытянулся по направлению к ней и молчал; молчал и тогда, когда она, кончив свои обличения и жалобы, уже думала о том, как бы ей вывести его из этого оцепенения. Но он вышел сам.

– Хорошо! – глухо воскликнул он. – Очень хорошо! А я и не знал!

Это было сказано таким тоном, как будто бы теперь, когда он всё это узнал, оно перестанет уже существовать, уж он позаботится, чтобы перестало!..

– Порядки!.. ну!.. господи! разве так можно?!. – Он кинул свою голову на руки и, облокотившись о стол, опять оцепенел.

Тогда она заговорила в более мягком и примиряющем тоне. Находя возможным извинять и оправдывать людей и себя, она делала попытки свалить всю вину и тяжесть событий на водку – силу, которая всё ломит, – но, успев в этом, нашла, что водка слишком жидкая почва для того, чтобы поддерживать на себе всю скверну жизни, – и снова обрушилась на людей; обрушилась и, воздав им должное, перешла к жизни:

– Ведь уж очень тяжело жить. Всё везде ямы; одну минуешь – в другую шлёпнешься.

Ну вот, завяжет себе глаза человек и пошёл!.. Куда кривая не вывезет! Где он, настоящий-то лёгкий путь?.. Кто ж его знает?.. Наша жизнь скверна и тяжка, ну, да и семьянкам

не сладко! Одни дети смают, да муж, да горшки, да чёрт в ступе!.. Вся жизнь такая, неустроенная.

Павел слушал и представлял себе жизнь, которая вся из ям и меж ними узкая тропинка, по которой идёт человек с завязанными глазами, а ямы насмешливо и темно зияют и, наполняя воздух гнилым, одуряющим зловонием, кружат ему, одинокому и слабому, голову, – и вот он падает…

А его лекторша уже совсем настроилась на минорно-философский лад и говорила о чём-то странном: о могилах, о полыни на них, о сырости земли, о тесноте…

Павел почувствовал, что он, пожалуй, сейчас заревёт, и сразу решил, что пора ему уйти отсюда.

– Иду я. Прощайте! – коротко сказал он и ушёл. Она не удерживала его, сказав на прощанье только одно ласковое «приходите поскорее!», на которое он утвердительно кивнул головой.

Он пошёл на улицу и долго шлялся по городу, чувствуя себя странно выросшим в этот вечер, каким-то большим и тяжёлым, что происходило, должно быть, оттого, что он нёс в себе много новых дум, представлений и чувств. Всё окружающее, весь город казался ему новым и возбуждающим к себе подозрение, недоверие и какую-то презрительно-тоскливую жалость… и это, надо думать, истекало из того обстоятельства, что он, Павел, узнал сегодня много скверных тайн и делишек этого города.

Он возвратился домой с восходом солнца, прогуляв всю

ночь и чувствуя себя снова немного больным.

Прошла неделя, в течение которой мой герой посетил мою героиню ровно семь раз.

Им обоим доставляли много удовольствия разговоры о жизни вообще и о жизни друг друга. Павел приводил в исполнение желание, зародившееся в нём ещё в то время, когда он лежал в больнице, и рассказывал ей о молчаливом Арефии, о том, что он думал, когда ещё мальчиком лежал в яме у бани и когда уже взрослым шлялся по кладбищу, городу и окрестным деревням… И все эти его думы носили странный отпечаток недоумения и недоверия к самому себе, но общий вывод из них был тот, что в жизни что-то такое идёт не так, расшатано, поломано и требует солидной починки.

Она рассказала уже ему свою биографию, очень простую. Шестнадцати лет, когда она была горничной у купца, с ней совершенно неожиданно случился грех, за который её прогнали от купца и из дома её родных, мещан Кривцовых. Она, как всегда это случается, когда человека выгоняют и когда ему некуда деваться, очутилась на улице… Явилась благодетельница, потом – благодетель, ещё один благодетель, ещё один, ещё – и повалились, чёрт знает откуда, целые десятки благодетелей!.. Они валились в течение восьми лет до сегодня, в чём она со вздохом откровенно призналась Павлу, Но он это знал и – кроме тоски – не ощутил при этом сообщении ничего особенного.

У них установились простые, дружеские отношения, и часто случалось, что она говорила с ним как с женщиной, а он спрашивал её как мужчину. Её синяки понемногу сходили с лица, и оно начинало приобретать свой естественный цвет, здоровый и сочный.

Она была очень здорова, и тонкий, как бы свинцовый налёт, характерный признак профессии, всё ещё не касался её щёк. Она любила петь и часто пела Павлу очень нелепые, но ещё более грустные песни, в которых шла речь непременно о любви. Но слово «любовь» не вызывало, очевидно, в ней никаких особенно приятных представлений и ощущений, и она произносила его так холодно и равнодушно, как не ухитрилась бы сделать это и семидесятилетняя старуха, у которой такое слово могло вызвать воспоминания и вздох о былом.

Павел ей просто очень нравился, что вполне естественно: это был первый человек, который не относился и не умел относиться к ней так, как относились все до него.

Она понимала, что он чист перед ней как женщиной, – и это немного приподнимало её, делало лучшей, не обязывало ни к нахальной развязности, ни к цинизму, ещё не успевшим войти ей в плоть и кровь. С ним в то же время можно было говорить обо всём и совершенно просто; он хотя и мало говорил сам, но слушал всегда внимательно.

Впрочем, он теперь стал развязней и говорил больше, чем прежде, что опять-таки понятно, ибо она старалась понять и вникнуть в его душу и думы, – он ей был дорог и нужен. Он

относился к ней с некоторым удивлением. Она казалась ему на редкость хорошей, доброй, мягкой и в то же время была из таких, о которых он не слышал ни одного слова хорошего…

Воспоминания об Арефии крепко сидели в нём, и теперь он часто про себя сравнивал, кто лучше, и не решался сам себе ответить, как бы боясь оскорбить память покойника ответом не в его пользу. Ему было невыразимо приятно вечером, кончив работу, приходить к ней так свободно, просто и сидеть, попивая чай и разговаривая тоже так просто, как бог на душу положит.

Она была грамотна и очень любила читать трогательные истории, напечатанные на плохой, серой бумаге и продаваемые пятачок пара. У ней была целая куча и в сундуке под кроватью, и иногда она довольно бойко прочитывала одну из них Павлу, а прочитав, начинала убеждать его полюбить чтение, что он ей всегда и обещал.

Павел чувствовал себя хорошо и даже выучился смеяться, что, впрочем, к нему очень не шло. Мирон Савельич посматривал на него добродушно и насмешливо и иногда довольно ехидно посмеивался, на что Павел ничуть не претендовал. Хозяин нравился ему всё больше, он относился к его делам всё внимательнее, и Павел платил ему за это тем, что работал, как вол.

Однажды хозяин сказал ему:

– А что, Павлуха, чай, возьми меня с собой ужо в гости-то!

Павел почему-то обрадовался его предложению, и вот они

вечером втроём пили чай на чердаке Натальи. Старик зорко наблюдал за молодёжью, предоставляя ей говорить и изредка только вставляя в их разговор два-три смешных словечка.

Вечер провели очень весело и мило. А идя домой с Павлом, Мирон Савельич, сначала всё что-то свиставший сквозь зубы, наконец заявил Павлу, тронув его за плечо:

– Смешнущий ты, братец мой, человечина! И она тоже… ну девица!.. Милые вы мои черти, не прищемите другу хвостов как ни то ненароком, а всё остальное в воле вашей.

Павел из этих слов ничего не понял, но, чувствуя, что это сказано из хорошего побуждения, поблагодарил хозяина. Он всегда в затруднительных случаях прибегал к благодарности.

Однажды мои герои сидели и, по обыкновению, попивая чай, до которого оба были большими охотниками, – разговаривали о том, кто что любит. Павел, перечислив свои страстишки, молчал и слушал перечень Натальи.

Она насчитала много: карусели, коньяк (с лимонадом и сельтерской любила больше, чем без оных), цирк, музыку, пение, книжки, осень, потому что она очень грустна, маленьких детей, пока они ещё не научились злиться, пельмени и т. д. – и наконец остановилась на катанье в лодке.

– Больше всего люблю! – заговорила она, блестя глазами. – Едешь – и качает тебя, как ребёнка в люльке… И так и становишься, как ребёнок: ничего не понимаешь, ни о чём не думаешь, плывёшь, плывёшь… без конца бы плыла, вплоть до моря, и всю жизнь!.. хорошо это!.. Ах, вот бы покататься!

И они решили ехать в воскресенье кататься. В воскресенье погода удалась хорошая, ясная, жаркая, – июльская погода. Они выбрали лёгкую, устойчивую лодку, Павел сел в вёсла, и они поплыли против течения. С одной стороны берег был окаймлён коричневой широкой лентой крутых глинистых обвалов, а с другой – зелёной бахромой кустарника, из которого там и сям пробивались высоко к небу пышные берёзы, серебристые осины и дубы, уродливо растрёпанные ветром, изогнувшим их сучья. За лодкой бежала, журча и извиваясь, пена, но она пропадала, не догнав лодки, и это её, должно быть, очень обижало, – в звуке, с которым она таяла вдали, было что-то недовольное…

Небо, ясное и глубокое, отражалось в воде, отражались в ней и те кусты, которые росли ближе к берегу; в воде они стояли вниз вершинами, и это, должно быть, было им очень приятно, – они покачивались в ней с такой ленивой красотой и грацией!..

Смелые, юркие стрижи носились над водой и хлопотливо трещали, а по берегу расхаживали, помахивая чёрными хвостами, весёлые трясогузки, смешные, точно они были маленькими сороками. Над рекой носились полные, могучие и мягкие звуки… Шелестела листва, река плескалась о берег, где-то далеко плавала песня, сильная, грудная и красивая…

Павел, в красной рубахе и без фуражки, сильно и мерно грёб приёмом опытного гребца, не двигая корпусом и работая только мускулами рук. Иногда ему на лоб падала прядь

волос, он откидывал её назад спокойным движением головы. В его глазах сияло много удовольствия, и он вдыхал глубоко грудью сухой, душистый воздух, поговаривая изредка: «Эх, славно!..»

Наталья сидела против него, положив руки на колени, с застывшей на губах блаженной улыбкой и покачивалась в такт с ударом вёсел по воде, – а с них падали в воду такие красивые, блестящие капли и звенели так тихо и ласково… Она посматривала вокруг себя и на гребца, такого сильного, большого, – и всё улыбалась, то глазами – голубыми и задумчиво-нежными, то губами – пухлыми и сочными.

Им обоим не хотелось говорить. Оба они чувствовали, что без слов лучше, и как нельзя больше походили на героев романа, пока ещё только немножко влюблённых, не сознававших этого, но уже в достаточной степени заинтересованных друг другом и ускорявших события внимательным наблюдением друг за другом. Но они ещё только походили на героев и пока не успели стать ими, по причинам, известным их судьбе – и только ей.

– Пристанем к берегу? – спросил Павел, когда они доехали до лужайки на берегу, очевидно, специально устроенной природой для маленьких пикников. Вся она была покрыта тенью от берёз, полукругом обступавших её, и поросла мягкой низенькой травой, среди которой редко пестрели какие-то бедные и скромные цветы.

Они вышли, захватив с собой узелок с провизией, медный

чайник и бутылку какой-то наливки. Через полчаса на лужайке дымил костёр и над ним висел чайник с водой; иногда в костёр с боков чайника падала капля воды и, шипя, испарялась. Дым извивался сизыми, кудрявыми гирляндами, таял в воздухе и опьянял каких-то маленьких мушек, которые, уныло звеня, падали на землю.

А кругом всё было так тихо, точно прислушивалось к чему-то. Павел хлопотал, развязывая узел, а она с мечтательным лицом срывала цветы и травинки и, что-то тихонько напевая, делала из них букеты. Это было сентиментально, но это было так, – поверьте в правдивость моей музы!.. Поверьте и в то, что, собирая цветы и вдыхая их запах, она делала это ничем не хуже всякой другой девушки. Я прошу извинения у всех других девушек, если они заподозрят меня в том, что я ставлю мою героиню на одну доску с ними. Ей-богу, это не так! и пусть они успокоятся, я не решусь сравнивать их с моей героиней. Я не могу идеализировать, я только уверен, что все люди могут быть очень хорошими людьми, если они хотят этого и имеют на это свободное время.

Потом вскипел чайник, и они стали пить чай и закусывать, заботливо угощая друг друга и перекидываясь короткими замечаниями о том, как всё это хорошо. От трёх рюмок наливки у Павла зашумело в голове, и он почувствовал потребность говорить.

– Хорошо, наверное, тем людям, которые понимают, что к чему принадлежит в жизни, – задумчиво начал он.

Наталья посмотрела на него и, помолчав, спросила:

– Что хорошего-то?

Павлу нужно было подумать, прежде чем ответить ей, и, воспользовавшись паузой, она заговорила, не дожидаясь его ответа:

– Не знаю как… по мне, так лучше ничего не понимать, – меньше спросится, и душе спокойней. Живи, как живётся, да поменьше на людей смотри…

И они начали философствовать. Но это скоро им надоело, и тогда они стали просто болтать. Павел всё более пьянел. Наступал вечер, тихий и тёплый. Наталья смотрела кругом, – становилось темно и грустно, и она захотела домой. Ей стоило большого труда убедить Павла, что уже пора ехать. Он весь как-то размяк и, соглашаясь с ней, не трогался с места, над чем-то смеясь и в то же время проявляя ясные признаки слабой борьбы с одолевавшим его сном.

Наконец она свела его в лодку, сама села в вёсла, а он сейчас же лёг на дно и уснул. Лодка тронулась вниз по течению и тихо, без гребли, поплыла около берега.

Угли от их костра раздувал тихий ветер, и в воду летели мелкие искры, падая на пятна теней от прибрежных кустов. Наталья направила лодку на средину реки и, плывя в молчании и мягком свете только что явившейся луны, смотрела на спавшего Павла и думала о чём-то, должно быть, очень грустном, потому что по её щекам медленно текли одна за другой слезы.

С одного берега на неё смотрели тёмные группы кустов, с другого – суровый и резкий обрыв, а с неба – звёзды, разгоравшиеся всё ярче и ярче. Тишина была такая, как бы всё живущее заснуло крепким сном, и даже вода под лодкой не звучала. Тёмная и спокойная, она казалась густой, как масло… Вот вдали замигали огни города, и оттуда понёсся гул, сначала отрывисто, как вздохи какого-то большого спящего животного, а потом – сплошной, густой волной…

Они приехали. Лодка сильно толкнулась о берег, и Павел проснулся. Он оглянулся вокруг, и ему стало стыдно, что он спал.

– Простите меня, Наталья Ивановна, за такое… – сказал он, когда они уже далеко отошли от реки по глухой и узкой улице.

Она удивилась и спросила:

– За что?

Тогда он уверенно объяснил ей, что это не очень хорошо – спать при даме.

– Господи! – воскликнула она. – Откуда вы это?.. Взяли-то такую чепуху откуда?..

– Это не чепуха, – стоял он на своём, – это вы сами же мне в одной книжке прочитали… да. Помните? – И он напомнил ей. – Вот видите! – сказал он тогда, немного торжествуя свою правоту, и прибавил: – Уж в книжках не может быть чепухи! – из чего ясно видно, как плохо он был знаком с литературой.

Когда они пришли домой, он остановился у лестницы на чердак и, сказав ей «прощайте», протянул руку. Она поколебалась почему-то, но потом вдруг схватила его руку и, крепко сжав её обеими своими, как-то странно громко зашептала ему:

– Голубчик мой!.. какой вы милый, милый!..

И быстро побежала наверх, оставив его, немного удивлённого этой похвалой.

Потом они ещё раз устроили такое же славное катанье…

Так вот как они жили! Но Судьбе идиллический жанр, очевидно, надоел так же, как он надоел и людям, и вот она превращает эту идиллию в роман.

Началось с того, что однажды вечером в дверь мастерской заглянула какая-то приличная усатая физиономия и очень вежливо спросила у Павла:

– Позвольте узнать, здесь живёт девица Наталья… Наталья… гм?..

Лучше бы ей этого не спрашивать, потому что в глазах Павла она сразу после своего вопроса превратилась в одну из самых богопротивных рож.

– Не знаю! – ответил он глухо и не совсем ласково.

– Такая, знаете, русая… с голубыми глазами… невысокая?

– Не знаю! – сказал Павел уже совсем неласково.

– Ссс… а!.. а мне сказали, что здесь!.. – разочарованно протянул спрашивавший. – Извините! До свидания!

Павел промолчал и почувствовал, что с исчезновением этого господина у него, Павла, не исчезло желание пустить ему в лоб колодкой.

– Не знаете ли вы, здесь живёт девица Наталья?.. – донёсся со двора вежливый и сочный баритон.

Павел, с колодкой в руках, вскочил и бросился к двери. Но когда он подошёл к ней, то на дворе прозвучал голос Натальи:

– Сюда, сюда, Яков Васильич!

Павел воротился на место, сел и, ткнув шилом не туда, куда следовало, бросил башмак на пол и снова пошёл на двор. Он встал на пороге сеней и стал смотреть в окно флигеля, где жила Наталья. Ничего не было видно, но слышались голоса, её – весёлый и его – густой и предупредительный. Потом послышались шаги на лестнице, и вышли они оба. Павел быстро притворил дверь, оставив маленькую щелочку, и приложился к ней глазом.

Наталья шла рядом с высоким господином в сером котелке. Он крутил ус и заглядывал ей в лицо, а она бросала искоса взгляды на дверь, за которой стоял Павел. И они ушли.

Павел воротился в мастерскую, сел у окна и, для того чтоб видеть что-либо на улице, закинул голову назад, но и тогда видел только верхний этаж противоположного дома, его крышу и небо над ней… Тут в первый раз он почувствовал себя в земле – в сыром подвале, глубоком, закопчённом. Он опустил голову и задумался. Пришёл хозяин и заговорил с

ним, но не получил ответа. Тогда он спросил тоном участия:

– Ты что это как избастрыжился?

– Так! – ответил Павел, посмотрев вокруг хмурым и пытливым взглядом.

– Как будто Наталька проехала сейчас на извозчике с каким-то брандахлыстом, – сообщил хозяин.

– Нет, это не она… – ответил Павел.

– Так ты чего к ней не идёшь сегодня? – осведомился Мирон, поглядывая подозрительно и пытливо на работника.

– Я вот сейчас пойду.

И он действительно пошёл на чердак. Но дверь в комнату Натальи была заперта замком. Тогда он сел на верхней ступеньке лестницы и стал смотреть вниз, в чёрную яму, зиявшую перед ним, молча и сурово.

Внизу кто-то о чём-то говорил, но Павлу всё это было непонятно. Он был увлечён соображениями на тему – как бы ей помешать? Как помешать ей гулять с этими господами в котелках?.. Прошлый раз – тоже был в котелке, только в чёрном, и имел рыжую клочкастую бороду вместо усов, но – всё равно – и он, как этот сегодняшний, походил на чёрта, обстригшего себе шерсть. Зачем такие люди родятся и живут? Почему их не ссылают на каторгу? Павел недоумевал, не умея ответить на эти два и на другие вопросы в таком же духе, и, недоумевая, чувствовал, что опять явилась тоска, давно уже не посещавшая его. Теперь он отвык немного от неё, и потому она была острей. К ней примешивалось ещё

какое-то обидное чувство, которое было ничуть не легче её.

Подавленный, он сидел час, два, до рассвета, до той поры, пока у ворот не послышалось дребезжание остановившейся пролётки, а на дворе чьи-то шаги.

Павел дрогнул и хотел уйти, но было уже поздно. По улице прямо на него шла Наталья, бледная, с измятым лицом и тупыми глазами. Она увидала его и остановилась на половине лестницы, немного смущённая его присутствием.

– Ах, это вы! Что это вы? – заговорила она, но, взглянув на него, замолчала.

Он осунулся от бессонной ночи и, расстроенный своими думами, был сух, резок и пугал своими глазами, смотревшими на неё так, как раньше они не смотрели.

Ей стало не столько стыдно перед ним, сколько боязно его, и она, опершись о перила лестницы, не решалась идти дальше, а он не двигался, упорно глядя на неё. Сцена была безмолвна и странна. Эту странность увеличивал свет, проходивший столбом через слуховое окно в крыше и ложившийся сначала на него, а потом, спускаясь вниз по лестнице, падавший ей в лицо, менявшее своё выражение каждую минуту.

Павел, наверное, сам был бы очень удивлён, если б мог видеть себя в этой позе. Он сидел, упёршись локтями в колена, и, подперев ладонями подбородок, смотрел вниз взглядом судьи. Становилось тяжело, и всё тяжелее с каждой минутой. Оба они не двигались, и она бледнела всё больше, на-

чиная уже дрожать под его упорным, осуждающим взглядом, и ей начинало казаться, что его резкое и острое рябое лицо делается всё резче и начинает разгораться гневом и злобой. Чем бы это кончилось, если б на помощь им не явилась кошка? Кошка вскочила, фыркая, в слуховое окно, перепрыгнув через Павла, бросилась по лестнице под ноги Натальи и исчезла.

Я тут не вывожу на сцену ни добрых, ни злых духов. Мной руководит один дух, – это дух правды, и я вывожу кошку, одну из тех маленьких случайностей, которые являются и исчезают, чем иногда создают крупные события, иногда очищают им путь и очень редко позволяют заметить себя. Я не могу сказать, какой величины и масти была эта почтенная кошка, которой я обязан тем, что теперь могу свободно вывести моих героев из затруднительного положения.

Вскрикнув, Наталья бросилась вверх по лестнице, Павел же вскочил ещё раньше и освободил ей путь.

– Проклятая, как испугала! – задыхаясь, прошептала Наталья, гремя замком у двери.

Натянутые нервы Павла тоже были потрясены, но всё-таки теперь оба они вышли из своего оцепенения, и Наталья, отворив дверь в комнату, развязно пригласила его войти.

Он вошёл молча и с видом человека, что-то твёрдо решившего; прошёл к окну, сел там на стул и стал смотреть, как она отцепляет старомодную кружевную накидку, задевшую за что-то на плече.

– Что же вы так рано сегодня встали? – спросила она, чувствуя, что молчание снова готовится стать тягостным.

Он хмуро посмотрел на неё и вдруг, повинуясь какому-то толчку изнутри, заговорил тяжело и неровно:

– Не ложился ещё я. Вчера, как увидел эту м-морду с вами, и того… это невозможно! Вам бы бросить эту жизнь! разве хорошо? всякий может… надругаться… эх!.. чай, не затем на свет-то вы родились. Непорядок! Непорядок! али это вам приятно?

Приятно это, придёт человек, возьмёт, уведёт… и всё такое?., нет, вы это бросьте! бросьте, пожалуйста, Наталья Ивановна!..

Он проговорил последние слова тихим, просительным шёпотом, а она, очевидно, не ожидавшая ничего подобного, держа свою накидку в руках, неподвижно и с покрасневшим лицом стояла перед ним и шевелила губами беззвучно и смешно, очевидно, имея что-то сказать, но не умея или не решаясь.

Он, посмотрев на неё, опустил голову и, подождав её слов, снова так же просительно, как и раньше, произнёс:

– Наталья Ивановна?..

Тогда она подошла вплоть к нему и, положив на его плечо руку, заговорила сама, убедительно, тоскливо, тихо и горько:

– Вот что! уж коли на то пошло, не покривлю я душой перед вами и так всё расскажу, как на духу рассказала бы. Знаю ведь я, что вам неприятно это всё, то есть моё поведение. Ох,

знаю я это! Но что же я буду делать? Ведь уж это моя жизнь.

И ни к чему я больше не способна. Работать? Не умею и не люблю я работать. Разве это лучше – работать и голодать? Но и стыд у меня тоже есть, – и вот перед вами мне стыдно. Очень стыдно, поверьте! Но – что же я буду делать? а? Ничего нельзя!..

И должна я жить этой жизнью, и буду… и… знаете, я съеду с этой квартиры и не скажу вам куда. Бросьте вы знакомство со мной. На что вам оно? А вы лучше женитесь на хорошей девушке и живите с нею. Есть ведь хорошие для вас девушки?!.

Её последняя фраза гораздо больше походила на вопрос, чем на утверждение.

Павел резко махнул рукой.

– Э, это не то вы говорите всё! Не то совсем! Главная причина – вы, а не я. Я что? Мне очень хорошо. Но вы должны бросить эту жизнь. Погано ведь уж очень!

Посмотрите – пришёл, увёл, – тьфу! Ну и мерзавцы же! Как это они ухитряются!..

Волос дыбом встаёт, как подумаешь!.. Гнусы!..

– Миленький, ведь это уж так нужно!.. – тоном утешения протянула она, гладя его плечо и немного пугаясь горького раздражения и в его словах, и на его лице, искажённом гримасой отвращения и гнева.

– Н…ничего не нужно! Врёте вы всё мне! Али я ребёнок? Ничего не нужно!

Думал я об этом. Гадость! Фу! бросить нужно, бросить!

– Голубчик мой, что ж я могу сделать? – спрашивала она тихим, умиротворяющим тоном, всё более пугаясь и всё более склоняясь над ним.

Теперь он сидел, откинувшись на спинку стула, и, ухватившись одной рукой за подоконник, другой делал резкие жесты и вытирал своё воспалённое гневом и почему-то вспотевшее лицо.

– Сделать! сделать!.. Бросить всё это! Гнать всех! вон!.. к чёрту!..

– Ты не кричи… услышат… не кричи. Давай, поговорим ровненько. Ну, подумай…

– Не хочу. Я уж думал.

– Да нет, ты погоди…

И, собрав всю свою храбрость, она поймала его руку, а так как сесть было ей не на что, то опустилась перед ним на колени.

– Ни в какую работу я не гожусь, и никто меня не возьмёт, потому что у меня такой билет… – раздельно начала было она.

– Э!.. – и он, сделав нетерпеливое движение, вдруг поражённый какой-то мыслью, застыл, наклонился к ней и, молча, пристально взглянув ей в глаза, вдруг спокойно и твёрдо сказал:

– Вот что, пойдёшь за меня замуж? Пойдёшь? Пойдёшь? Пойди!.. а? Пойди!..

Я тебе… я тебя… – Его голос спустился до робкого шёпота и оборвался.

Она откинулась назад, широко раскрыв глаза, и вдруг вскочила, обняла его и зашептала сквозь слезы:

– Милый… голубчик!.. Меня-то замуж… меня-то… за тебя!.. Ах ты!.. за тебя… я замуж!.. Смешной ты… ребёночек ты…

И она, странно смеясь и вместе с тем плача, стала его целовать, крепко охватив его шею руками.

Это для него было ново, и он сначала только прислушивался к тому, как кровь, кипящей струёй пробегая по его жилам, сладко туманила его, а потом, конечно, увлёкся и, жадно стиснув её руками, прижал к себе, задыхаясь, пытаясь что-то выговорить и без числа целуя её лицо своими жаркими и жадными губами…

В окно взглянули первые лучи солнца и наполнили комнату нежным, розовым светом.

Павел проснулся первый. В комнате было душно, ослепительно светло и тихо, только издалека откуда-то доносился глухой, смутный шум. Солнце смотрело Наталье в лицо. От этого она плотно сжала веки и нахмурили брови, недовольно подняв верхнюю губу, что делало её капризной и строгой, а раскрасневшиеся щёки заставляли его думать, что она не спит, а притворяется. Её русые волосы растрепались во сне и легли вокруг всей головы лёгкими, красиво взбитыми прядями… Одно пухлое белое плечо было обнажено, и тонкие

розовые ноздри вздрагивали от дыхания… Вся она как-то просвечивала на солнце и блестела.

Павел, не вставая, стал тихо приглаживать ей волосы. Она открыла глаза, сонно, но всё-таки так ласково улыбнулась ему и отвернулась от солнца.

Павел встал и оделся. Потом взял стул, осторожно, без звука подставил его к постели и, сев, снова стал смотреть на неё, прислушиваясь, как ровно она дышала.

Она казалась ему такой близкой, родной, ценной, как никогда до сей поры. Он молча улыбался и, сидя, строил планы и рисовал картины будущего, как это и надлежало счастливому любовнику, ещё не успевшему утомиться своей любовью.

Ему представлялась мастерская, которую он откроет, когда они обвенчаются.

Это – маленькая комнатка, не такая тёмная и прокопчённая, как у Мирона, а светлая, чистая, и рядом с ней будет другая, их комнатка, – тоже маленькая, только оклеенная голубыми обоями, тогда как первая – жёлтыми, с красными цветами, – это очень красиво.

Окна квартиры – непременно в сад, где они по вечерам станут пить чай и откуда летом ветер вольёт в комнату много сочного запаха зелени… Она будет стряпать, потом он научит её шить сапоги, и у них будут дети… И будет ещё много такого хорошего, тихого, любовного…

Павел встал с видом полного счастья, вздохнул, оглянул-

ся кругом и, подойдя к столу, взял с него самовар, широко улыбнулся и пошёл его ставить на чердак. Как это хорошо он выдумал! Она проснётся, а на столе весело будет кипеть самовар, и он, сидя за ним, хозяйничать!.. Она, наверное, похвалит его…

Подождав, пока прогорела лучина, и положив углей, он, осторожно ступая, пошёл в комнату с намерением всё прибрать в ней и почувствовал себя огорчённым: она проснулась, и его предполагаемый сюрприз был расстроен. Она лежала в постели, закинув обнажённые до плеч руки за голову, и зевала самым прозаическим образом, не выразив на своём лице ничего, кроме того, что он ей знаком, близко знаком, – и всё тут.

– А я поставил самовар!.. – с некоторым сожалением произнёс он.

– Ну? А сколько бы теперь времени? – спросила она.

– Больше полдён! – ответил Павел, и ему показалось очень странным то, что они говорят о таких вещах. По его чувству следовало говорить совсем о другом; но о чём и как, едва ли сказал бы он это ясно. Он снова сел около её кровати на стул.

– Ну что, хорошо? – с улыбкой спросила она его.

– На душе? Эх, хорошо, Наташа! Вот хорошо!.. – восхитился он.

– Ну и ладно! – с усмешкой сказала Наталья. Павлу хотелось её поцеловать.

Он взял её за голову и склонился к ней.

– Ага! видно, понравилось!.. – снова усмехнулась она.

На Павла пахнуло холодом от её слов и усмешки.

– Что это ты? – недоумевая, спросил он.

– Я-то? Я ничего. Так. Что, жениться-то ещё не расхотелось тебе?

Павел слышал, что в её тоне ясно звучит подозрение и насмешка, и задумался, – что бы это значило?

Она стала одеваться, сев на постели. Лицо у ней было грустное и точно немного злое.

– Что ты какая? – робко спросил Павел.

– Какая? – не посмотрев на него, переспросила она. Но Павел не знал, какая именно. Он только чувствовал, что она не такая, как бы это было нужно по ходу дел.

Но у неё были свои причины быть именно такой, какой она была. С ней, как только она проснулась, произошёл резкий переворот. Она сразу припомнила всё, что произошло незадолго перед тем между ними, припомнила и почувствовала, что она потеряла дорогого ей человека, поддавшись тому порыву, который поставил её отношения к нему в известные ей и надоевшие грязные рамки. Ей совсем не нужно было этого; ей нравилось то почтительное и дружеское отношение Павла к ней, которое было ещё несколько часов тому назад и которое теперь должно исчезнуть, казалось ей. Она твёрдо знала, чем кончаются те отношения, которые начинаются всегда одинаково, и хотя видела Павла счастливым и радостным, но не могла думать, что он долго будет таким…

Она потеряла человека!.. И она сердилась на себя за это, на сердце её было много горечи, и хотя пока ещё Павел в её глазах не пошатнулся, всё-таки часть своих чувств она переносила и на него.

Он, глядя, как она одевается, чувствовал, что его всё сильней и сильней обуревает желание обнимать и ласкать её, и, не имея сил, да и не считая нужным сдерживаться, обнял её. Она подчинилась ему с холодной, кривой усмешкой на губах и была холодна, но он, полный огня на двоих, не замечал этого…

Минут через десять они пили чай; она, уже умытая и причёсанная, сидела на постели, а он против неё на стуле. Он молчал, полный тихого восторга и утомлённый, а она была грустна и, посматривая на него через блюдечко с чаем, вздыхала.

Вдруг Павел заметил, что по её щекам скатываются крупные слёзы и капают в чай, который она не переставала пить. Едва ли кто-нибудь пил чай со слезами и ухитрялся в то же время иметь такое спокойно-равнодушное лицо, как она, эта, кстати сказать, очень нелепая девица!

– Что ты? а? что? о чём? – быстро заговорил Павел, вскочив со стула и бросаясь к ней.

Тогда она бросила блюдечко на стол, расплескала свой чай со слезами и, уже рыдая, заговорила:

– Дура я! обворовала я самоё себя!.. Эх, за всю жизнь один раз соловья слушала, и то сама спугнула! Теперь уж дудоч-

ки!.. Шабаш, Наташка!.. Теперь уж я тебе известна!.. О!.. О!.. Дура!.. дура!..

Павел не понимал, в чём дело, и ласкал её, чем невольно подтверждал её подозрения. А она всё плакала. Наконец, он заговорил:

– Ну, полно, Наташа! Перестань. Вот женимся, заживём ах как! Мастерская своя у меня будет, и ты будешь хозяйкой, женой, как все иные бабы! а? Хорошо ведь?

Она отняла его руки, обнимавшие ей шею, и сардонически, но и с надеждой, маленькой, еле слышной надеждой, заговорила:

– Сколько времени – неделю, что ли, ты так-то говорить будешь? Знаем мы вас! Э, знаем, мальчик!.. Да не про то я, не про то, не бойся! Всерьёз я этого не приму, женитьбы-то твоей. Не приму, нет! Ты думаешь, я бы согласилась и в самом деле замуж выйти? Даже и за тебя, даром, что ты хорош, не пойду. Не подолгу хорошие-то цветут! А укоров за жизнь мою я слушать не желаю. Не хочу! А ты думаешь, ты бы не стал мне напоминать, что я такая, коли б я женой-то твоей стала? Э, батюшка!.. не меньше кого другого стал бы, уж я знаю это! Нашей сестре во всём болоте ни одной твёрдой кочки нет. Не про то я… Не хочу я женитьбы твоей, а жалею я себя, дуру, за то, что вот ты мне теперь не друг-человек, – и это сама виновата. О! О!!. дура!..

Павел усиленно старался вникнуть в смысл её речей и не мог. Но её слёзы действовали на него, и вот они родили в

нём тоскливое вдохновение и страх за что-то.

– Слышь, Наталья! Ты не терзай мне душу! – сурово сдвинув брови, начал он.

– Не мучь меня словами твоими. Я их понимать не могу. Это не ко мне. Но всё дело и не в том совсем. Я вот что скажу, всё сердце перед тобой выверну – смотри! Первый ты для меня человек на всей земле. Первейший, я так чувствую! И на всё я для тебя пойду. Скажи мне: «Пашка, туши солнце!» Я влезу на крышу и буду дуть на солнце, пока не потушу или не лопну. Скажи мне: «Пашка, режь людей!..» Пойду и буду резать.

Скажи: «Пашка, прыгай из окна!..» Прыгну! Всё, что хошь, сделаю! Скажи: «Пашка, ноги мои целуй!..» – хошь, теперь целовать буду? хошь? Давай!..

И он на самом деле ведь бросился к её ногам, что, как известно, давно уже вышло из моды.

Наталья была поражена этим взрывом. Слушая его первые слова с недоверчивой улыбкой, она улыбнулась уже весело, когда он предложил ей потушить солнце, вздрогнула, когда он хотел в честь её резать людей, – он был страшен, весь пылая и вздрагивая, – а когда он бросился целовать её ноги, она почувствовала дикую гордость и, не сопротивляясь позволила ему делать это.

Поработить человека всегда и для всех – большое наслаждение. Она видела человека, порабощённого ею… Но ничто человеческое не было чуждо ей, и она жалела его у своих

ног. Она наклонилась, подняла его с пола за плечи, – подняла и ласкала так, как не ласкала ещё никого, и так, что, когда они, наконец, успокоились, оба были изломаны и смяты…

Но в них ещё не всё перекипело, и они решили пойти гулять за город, в поле.

Павел забыл о мастерской, о хозяине, обо всём – и шёл с ней глухими улицами, которые выбирала она нарочно, опасаясь встретить знакомых. Они вышли в поле, долго бродили там одни, ни в ком не нуждаясь и разговаривая друг с другом просто, без опасения показаться друг другу смешными или глупыми, без желания насильно навязать друг другу свои мысли и чувства, без взаимного желания заявить о всяческом превосходстве одного над другим, без всего, что необходимо присутствует в любви культурных людей и, делая её более пикантной, делает менее цельной.

Простим же моим героям их некультурность «на основании вышеизложенного», как говорят юристы!..

Наконец, они пришли к реке, сели на берег под кусты тальника, на песок, чисто вымытый волнами, и, посидев, заснули тут, крепко обняв друг друга.

Через несколько дней после происшедшего Павлу стало казаться, что все мужские ноги, мелькающие мимо окон мастерской, шагают не куда иначе, как на чердак к Наталье, и это заставляло его то и дело вскакивать с места и выбегать на двор. Хозяин смотрел на него и посмеивался себе в бороду. Он уже знал от Павла обо всём, и Павел даже привёл его на

некоторое время в состояние столбняка, почтительно заявив ему о своём желании иметь в его лице посажёного отца. Мирон Савельич, когда вышел из оцепенения, сказал ему целую речь, начав её так: – Миленький дурачок! Послушай меня, я два раза был женат. Первая жена всё мешала меня с мастерами, а вторая так крепко любила, что я не знаю, как и жив остался, – чем ни попадя и когда угодно дует себе, да и ну!.. точно у ней и папаша и мамаша оба будочники были, до того она колотить людей любила.

Затем он нарисовал полную картину семейной жизни, с горшками, пелёнками, ухватами, стиркой белья, мытьём полов и массой других удобств, заставлявших его, по его описанию, в правдивости которого он клялся, есть щи с мылом, ходить на руках, ощущать на своей голове мокрые пелёнки и пробовать ею крепость разных горшков. Потом он пофилософствовал на тему, что такое женщина вообще, и, придя к очень печальному выводу, наконец сказал:

– Чудачина!.. Разве их нет? Чего ж тебе эта нужна? Ведь ты погубишь свою голову с ней, пойми ты! Положим, она вон как тебя перемастерила! совсем человеком стал, и весел, и смеёшься, и разговоры говоришь… но, душенька, ведь ты ж ей за это уже уплатил. Разве кто другой станет с ней так обращаться, как ты? Ну, и будет с неё этого, довольно будет. А ты, уж коли что, женись-ка по-христиански, я тебе т…такую ш…штучку икряную поддену, ах ты мне! Приданое дадут, мастерскую откроешь.

А с этой вся жизнь тебе в один месяц осточертеет. И как вы будете жить? Нет ничего, ни чашки, ни ложки, делать она ничего не умеет… Э-хе-хе!.. Плюнь ты на неё, каблук моей души, плюнь!

На Павла эта речь подействовала так же, как и на стены мастерской. Он с Натальей за это время сблизился до такой степени, что не только не мог допустить мысли о плевке, но чувствовал, что ему, для того чтоб работать так же усердно и внимательно, как раньше, – необходимо её присутствие в мастерской.

Раз он, кончив работу, пошёл к ней и не застал её дома. Он побледнел, затрясся и сел у двери, где и просидел до её прихода. Она пришла уже после двенадцати, но трезвая и приличная, поскольку могла быть такой. Она сразу успокоила его, заявив, что была в гостях у подруги, которая обещала ей достать место горничной. Он был рад этому, поверил и забыл свои страхи. Но вскоре после этого он, думая о ней, натолкнулся на вопрос – откуда берёт она деньги? Этот вопрос обдал его холодом, и он в тот же вечер спросил у неё.

– Да много ли мне надо-то? – отвечала она ему тоже вопросом.

Но он не отступался.

– Накопила… немного, по грошам. Ну и живу…

Что-то толкнуло его спросить – показать деньги.

– Что же! Можно показать. Изволь.

Но не нашла ключа от сундука, и вопрос остался неразре-

шённым.

Когда Павел фантазировал о будущей совместной жизни, она молчала, мечтательно закрыв глаза, а когда он, разгорячённый своими фантазиями, ласкал её, она отвечала на его ласки холодно и раз даже заставила его задуматься и выдумать вопрос:

– Тебе, может, это не по душе?

Она поглядела на него, недоумевая, и не скоро ответила ему, тихо и как бы сама не доверяя своим словам:

– Нет… что ты! Очень даже.

Этого ему было достаточно, чтоб успокоиться.

Он приносил ей свои деньги и отдавал, как жене и хозяйке. Однажды купил ей на платье. Но она относилась к этому как-то формально-ласково. В этом отношении к его заботам о ней он почерпнул первые приступы тонкой и острой ревности. Он не понимал этого чувства ясно и умел не высказывать его пока. Но однажды случилось вот что: Они сидели и пили чай, как вдруг на лестнице послышались шаги и весёлое посвистывание, а потом пение тонким тенорком: И я ид…ду к Матане душке, И вот Матанин уголо…ок.

Павел нахмурился и посинел от предвкушения чего-то скверного.

И вот Матанин уголок.

Да…

– Ах, у вас гости!.. – разочарованно протянул певец, остановившись в дверях.

Он был франтоват, имел козлиную бородку, рыженькие, в стрелку усы и в общем – довольно мизерен. Присмотревшись к Павлу, он развязно вошёл в комнату, ещё более развязно повесил свою шляпу на гвоздь и направился к Наталье, улыбавшейся ему навстречу несколько растерянно и виновато.

– Здрассте, бож…жественная Наталья…

– Тебе чего нужно? – возгласил Павел, но не двинулся с места.

Франт посмотрел на него, шевельнул усами и хладнокровно кончил приветствие, галантно потрясая руку Наталье:

– …Ивановна! Угостите чаишком и просветите мой ум относительно этого чумазого господина с ремешком на голове.

– Пошёл вон! – сказал чумазый господин и поднялся со стула.

– Как-с?.. Наталья Ивановна, это как понимать? – несколько обиженно справился господин у хозяйки.

– Пошёл вон!! – Павел трясся.

– Извольте-с, я пойду! – поспешно согласился посетитель и ушёл; но, спускаясь по лестнице, крикнул: – С законным браком, Наталья Ивановна! Оповещу…

Но кого он хотел оповестить, осталось неизвестным. Оставшиеся в комнате долго сидели молча.

– А скоро они перестанут шнырить? – угрюмо спросил Павел.

– Когда всех разгонишь… – спокойно сказала Наталья.

– Много ещё осталось?

– Не знаю. Не считала. Тебе чего больно не по душе они? – криво усмехнулась она, исподлобья посмотрев на Павла.

– Не могу я этого терпеть! пойми, не могу! Моя ты теперь…

– Вон как?!. Где купил? Что дал за такую? – иронизируя, спросила Наталья.

Павел замолчал и нахмурился.

– Смеёшься ты… Лучше бы не надо этого. Чай, я не вру, коли говорю это.

Моя ты, и дни и ночи, всегда теперь я про тебя только и думаю…

– Ну и ладно! На том и крест поставим! – сухо согласилась Наталья.

С некоторых пор Наталью смущало отношение Павла к её посетителям. Она полагала, что с ними не следует прерывать знакомства; среди их есть хорошие, весёлые люди. Иногда Павел ей казался не только букой, но и человеконенавистником. Она думала, что было бы очень трудно жить, если б он был постоянно рядом. У ней были вкусы, у него – другие, очень странные, чтоб не сказать – смешные. Но за всем этим – он был хороший, чистый, честный человек, любивший её, чем она гордилась, признававший в ней равную, что ей очень льстило. Он говорил с ней обо всём, что было на душе, и она могла говорить с ним так же, а это имело большую цену. Последнее время она часто думала о том, как бы это устроить, чтоб, не теряя его, возможно долее жить так, как жилось

до знакомства с ним. Для неё эта жизнь, хотя и грязненькая, но весёлая, имела свою прелесть. Всё, что она получила бы от неё хорошего, она скушала бы сама, а всё дурное разделила бы пополам с ним. И она надеялась, что со временем ей удастся приручить его до такой степени. Его фантазии о женитьбе она очень любила слушать; слушая, мечтательно закрывала глаза, улыбалась и рисовала себе разные картины семейной жизни, картины весёлые, живые, увлекавшие её. Но она была настолько умна, чтоб понимать, что действительность не оправдала бы его фантазии. Она была твёрдо уверена в том, что у него скоро пройдёт это бешенство любви, которое она понимала по-своему, не очень лестно для него, а когда оно пройдёт, на неё посыплются укоры, побои и т. п.

Да и жить до самой смерти всё с одним и тем же человеком в одной комнате, дни и ночи – всё с одним, – это, должно быть, невероятно скучно! А иногда ей казалось, что она могла бы жить с ним хорошо и долго, но что ему это не нужно, что она не стоит его и не согласится выйти за него замуж, как бы он ни просил её об этом, из жалости к нему, такому хорошему и дорогому ей. Она желает ему счастья, и пусть её жизнь пойдёт так, как шла до этой поры.

Такие думы приносили ей с собой странное, сладкое чувство, Ей казалось, что она чище и умней, когда думает так, и вот она, бессознательно руководясь женской страстью к кокетству, начала искусственно настраивать себя на такой ми-

норный лад и встречала Павла такой тихой, задумчивой и как бы подавленной чем-то. Его же это настраивало на нежности, от которых он всегда переходил к фантазиям. Так развлекалась она от начинавшей заявлять о себе скуки знакомства с Павлом. Но иногда она не выдерживала роли, чувствовала, что ей скучно с Павлом, срывалась – и показывала когти. Тогда как он, тяготея к ней с каждым днём всё более и более, всё чаще останавливался на желании поговорить с ней окончательно и, наконец, это желание осуществил.

Однажды вечером, гуляя по городу, они забрели в какой-то садик и, немного уставшие, сели на лавочку под густой навес акаций, уже кое-где сверкавших жёлтым листом.

– Ну, так как же, Наташа? – спросил Павел, с серьёзным видом поглядывая на неё сбоку.

– Что? – осведомилась она, помахивая себе в лицо сломанной веткой и, в сущности, догадываясь, о чём он хочет вести речь.

– Когда же, мол, мы венчаться-то?

От лучей луны, проникавших сквозь листву акаций, на Павла и Наталью легла кружевная тень, она легла и на дорожку у их ног, тихо колеблясь на противоположной им скамье. В саду было тихо, а над ним, в небе, спокойном и ясном, задумчиво таяли прозрачные, перистые облака, не скрывая своей пуховой тканью ярких звёзд, сверкавших за ними.

Всё это и утомление от прогулки настраивало Наталью на более мечтательный лад, и выдуманная ею оппозиция Павлу

по вопросу о женитьбе теперь казалась ей как нельзя более правдивой и действительно чувствуемой.

– Венчаться? – покачивая головой, переспросила она. – Вот что я тебе скажу: брось ты это. Какая я тебе жена? Просто я гулящая девка, а ты – честный, рабочий человек – и не пара мы поэтому. Я уж ведь говорила, что не могу я, поганая, быть иной.

Ей доставляло удовольствие это самоуничижение, позволяя думать о себе как об одной из тех девушек и женщин, о которых она читала в книжках.

– А тебе, – всё более минорно продолжала она, – надо хорошую, честную жену.

Мне же уж на роду написано погибать в мерзости. Одного хотела бы я, – это видеть жизнь твою, когда она пойдёт своим порядком: жена у тебя будет… дети… мастерская…

Тогда… – дрожащим от сдерживаемых слёз голосом уже зашептала она, – я тихонько… приду… к твоему дому… и посмотрю… посмотрю, как… мой милый Паша…

И она разрыдалась. Ей на самом доле стало больно и грустно от всего сказанного.

Ей вспомнилась одна сцена из книжки: любящая и пожертвовавшая своей любовью ради «его» счастья с другой, всеми презираемая Мери Дезире, в рубище, утомлённая долгой дорогой, стоит под окном Шарля Лекомб и видит сквозь стекло, как он, сидя у ног своей жены Флоранс, читает ей книгу, а она мечтательно смотрит в пылающий камин и, од-

ной рукой держа на коленях своё дитя, другой играет волосами Шарля. Бедная Мери пришла пешком издалека и принесла с собой доказательства своей невинности и любви, но увы! Поздно!.. и она замёрзла под окном своего возлюбленного… дальнейшая судьба которого осталась Наталье неизвестной, ибо в книжке были вырваны последние страницы. Когда эта картина встала пред глазами Натальи, она разрыдалась ещё горше и сильней.

Павел весь дрожал от сострадания и любви, от беспомощности и горя, – дрожал и, крепко прижимая её к себе, сам со слезами, кипевшими в горле, глухо говорил:

– Наташа!.. Наташа!.. полно, перестань!.. люблю… не отдам… ведь… – и ещё какие-то слова.

Когда, наконец, она немного успокоилась, то он, взволнованный и восторженный её любовью и благородством, которое ему инстинктивно было понятно, заговорил торжественно и сильно:

– Слушай! ты – мой человек! мой человек ты потому, что я о тебе думаю и дни и ночи и что у меня, кроме тебя, нет ни души! И никого мне не надо. Никого.

А тебя я возьму себе, хоть ты что хочешь говори! Пойми это, пойми! Никому я не могу тебя уступить, потому что без тебя мне не житьё. Как я буду жить без тебя, коли я только о тебе и думаю! Мой ты человек! Я за тебя сердце отдам! Поняла? И не толкуй больше.

Но она толковала. Она унижалась перед ним и в то же вре-

мя чувствовала себя всё выше. Громадное, сладкое чувство наполняло всю её по мере того, как она обливала сама себя грязью своих признаний, и, становясь всё откровенней, циничней, дошла до того, что сказала ему, наконец:

– Ты думаешь, за это время я чиста была?.. Бедненький! Каждый день…

Но она не договорила. Павел выпрямился перед ней, положил ей руки на плечи и, тряся её, глухо прошептал:

– Молчи!.. молчи!.. убью!

Затем раздался яростный скрип зубов.

Согнутая его руками, давившими ей плечи, Наталья почувствовала, что пересолила, и её обуял страх. Павел видел, что она дрожит, и жалость к ней немного охладила пыл его ревности, хотя и не уменьшила нанесённое ему оскорбление. Он тяжело опустился рядом с ней. Наступило тяжёлое молчание, продолжавшееся томительно долго. Наталья, всё ещё испуганная, прервала его первая, тихо прошептав:

– Пойдём домой.

Он встал и молча пошёл рядом с ней.

– Не любишь ты меня, коли можешь говорить мне такие слова. Жалости в них нет. Скрывать должна была это. Да!.. – сказал он ей, приведя свои мысли в порядок.

Она глубоко вздохнула, и на её лице отразилось искреннее раскаяние.

– Ну да ладно. Вперёд – помолчи. А разговор наш кончен. Деньги у меня есть – сорок два рубля, да за хозяином

– девятнадцать. На свадьбу да на первое время жить хватит. Есть у тебя платье… такое, в котором можно бы в церковь войти… которое ты не надевала ещё… ни разу?..

– Нет! – тихо сказала она.

– Ну… надо сшить. Завтра я тебе куплю.

Она промолчала. Когда они пришли домой, он оставил её у лестницы, тихо сказав:

– Не пойду я сегодня к тебе.

– Хорошо! – кивнула она головой и взбежала по лестнице вверх.

Он послушал, как загремел замок там вверху, и пошел снова на улицу. Он чувствовал себя глубоко обиженным её признанием, и ему казалось, что вся улица дышит на него странным холодом, возрождающим в его груди давно забытые чувства, – одиночество, тоску и его старые думы, которые теперь были почему-то тяжелей и непонятней ему, принося с собой что-то новое, чего прежде в них не было.

А она, войдя в свою комнатку, заперла за собой дверь на крючок, села, не раздеваясь, к открытому окну и облегчённо вздохнула «ф…фу!..», а потом, подперши ладонью щёку, стала смотреть в окно.

Собирались тучи. Они вползали на небо, поднимаясь из густой тьмы, закрывавшей горизонт тяжёлой бархатной завесой. Двигались они так медленно, точно делали это по обязанности, давно уже надоевшей им. Охватывая собой небо, они гасили звёзды одну за другой и, точно жалея о том, что

портят небо, стушёвывая собой его украшения и скрывая от земли его мягкий, умиротворяющий блеск, – плакали частыми, крупными каплями дождя. Дождь гулко стучал о железо крыши, и эти звуки казались предупреждающими о чём-то землю сигналами туч.

Наталья, как и Павел, тоже чувствовала себя обиженной и порабощённой, как никогда.

«А, вот ты какой! тоже, как и все, – сегодня люба, а завтра – в зубы. Ну, голубчик, шалишь!.. погодишь!..» – думала она.

Ей вспомнилось его искажённое злобой лицо, его шёпот и скрип зубов… «Молчи!.. убью!..» За что? За то, что она была с ним так откровенна и сказала ему всю правду?

Благородно!.. а ещё друг!.. а ещё любит!.. До сей поры ей никто не обещал убить её, а когда её били, то били просто так, без всякого предупреждения и почти всегда под пьяную руку. Но те господа и он – это разница большая!.. И ей снова стали рисоваться картины жизни с Павлом, последовательно – день за днём, и полно – с утра до вечера, со всеми деталями. Вот они проснулись – рано утром. Ей ещё хочется спать, но нужно ставить самовар, ему пора работать; нужно топить печь и стряпать, коли есть чего стряпать; нужно убрать комнату, потом – накрыть на стол… Обедать, мыть посуду, мести пол, что-нибудь шить себе или ему, снова ставить самовар… и вечер.

Ну, положим, пойдут они гулять вдвоём, коли есть свободное время. Гулять с ним очень скучно. К ним в гости едва

ли кто будет ходить – он такой бука и чёрт!..

Придут с прогулки – ужинать и спать. Вот один день. А как работы у него не будет?

А как он начнёт её сначала корить её прошлой жизнью, а потом колотить?.. И, наверное, он будет ревновать её ко всем, с двенадцатилетнего мальчишки до семидесятилетнего старика. А о чём она будет говорить с ним? Он ведь глупее её и неграмотный; она любит читать книжки, где она тогда возьмёт книжек?.. И чем дальше она думала, тем тошней и скучней представлялась ей жизнь с Павлом.

«За что же я ему продам себя?» – поставила она вопрос и быстро нашла, что ему нечем заплатить ей за неё. Тогда она стала вспоминать, что её к нему привязывает и чем она ему обязана. Она с удовольствием открыла, что обязан он ей, а не она ему, и что вся её привязанность к нему основана на том, что он жалкий, одинокий…

«Так что же теперь?!.» Тут она вздохнула, легко и свободно, и укоризненно и громко сказала:

– Ах ты, рябой чёрт! а?.. погоди, я тебе покажу! я тебе докажу, кто я такая!.. ты не поскрипишь у меня больше!.. Ты думаешь, я твоя рабыня? Ну, это дудочки!..

Это, миленький мой, игрушечки!..

Вскочив с места, она накинула на себя платок, ещё что-то и быстро вышла из комнаты, не заперев её и несмотря на то, что дождь уже шумел на улице, монотонно колотя по железу крыш, по панелям и в стёкла окон… Она торопилась

доказать Павлу, кто она такая, и была полна злобной удали и сознания своей независимости.

Два дня её не было. Павел, как только вошёл поутру первого дня в её комнату, так сразу почувствовал, что совершилось нечто новое и для него далеко не приятное.

Он ждал её весь день, а ночью ходил по городу, заглядывая во все портерные и трактиры; но её нигде не было. Он стиснул зубы, нахмурился, сгорбился и молчал весь день.

Тупая боль и предчувствие чего-то тяжёлого, несчастного давили, и понемногу в нём нарастала злоба против Натальи. На третий день он похудел и осунулся, точно после болезни.

В этот день вечером мимо окон мастерской к воротам подкатили две пролётки.

Павел услышал её смех и, побледнев, бросился на двор.

Она шла под руку с выцветшим человеком в форме военного писаря; у него и усы, и лицо, и мундир – всё как-то слиняло, а она была навеселе, покачивалась, что-то пела и смеялась. За ними шла ещё пара: тоненькая чёрная девица с пожилым человеком, похожим ни повара.

Павел смотрел из сеней в щель между досками и чувствовал, что в нём всё кипит, что он сейчас задохнётся от злобы; но, когда они скрылись на лестнице, он как-то сразу успокоился и впал в холодное, неподвижное отчаяние. Он сел в сенях на пол и, прижавшись головой к кадке с водой, оцепенел. Ему казалось, что он слышит смех и говор, доносящийся до него с чердака… и перед глазами его в разных позах мелька-

ла Наталья, оживлённая, громко и весело смеющаяся, какой она никогда не была с ним.

«Почему она не была такой со мной?» – вдруг родился у него вопрос. Он скоро и правдиво ответил себе на него: с ним, Павлом, нельзя ей быть такой; он неуклюж, глуп и скучен. Это сознание увеличило его тоску. Значит, он теряет её по своей воле!..

Он теряет её!.. теряет… и остаётся снова такой же, какой был прежде, до встречи с ней, – одинокий, молчаливый… никому не нужный, смешной подкидыш… И, как всегда это бывает, когда женщину любят и теряют, – Паньке ярко вспоминалось всё хорошее в Наталье, и, подавляя собой всё дурное в ней, воображение, наконец, нарисовало ему её такой чистой, ласковой, доброй и необходимо нужной ему, – что его тоска усилилась до какого-то удушья.

И вдруг он вскочил, улыбнулся и с видом крайней решимости бросился через двор к ней на чердак. Он шагал по лестнице, а навстречу ему лился клокочущий, весёлый шум.

Он в дверях. Наталья, возбуждённая, раскрасневшаяся, удало подбоченясь одной рукой и подняв другую, с платком в ней, кверху, очевидно, приготовилась танцевать…

Всё остальное было в тумане, одна Наталья только была ярка, красива и жива…

– Здравствуйте, Наталья Ивановна! – дрожащим голосом, но весело крикнул Павел.

– Ах!.. Это… ты!.. – раздалось тихое восклицание, немно-

го испуганное и дрожащее.

Потом всё стало мёртво и тихо… и всё колыхалось и плыло куда-то… Только Наталья стояла неподвижно и смотрела своими большими голубыми глазами, такими хорошими и светлыми.

– Да… вот я пришёл… к вам… повеселиться. Весело у вас тут… слышу – смеются… дай пойду!.. – растерянно говорил Павел и чувствовал в своей груди какие-то толчки, двигавшие его вперёд. Один из этих толчков был так силён, что сбросил его с порога, где он стоял, прямо к ногам Натальи.

– Наташа! Наташа!.. Я пришёл… выгони их всех вон! Прости меня!.. не могу я жить без тебя, не могу!.. Не могу я! Как же это? Один… невозможно одному! Я же тебя люблю! ведь люблю!.. ведь уж я говорил, что люблю!.. Ведь ты мой человек… на что тебе они?.. Дни и ночи… дни и ночи всё о тебе об одной… все думы… я буду весел…. буду весёлый. Смеяться буду и много говорить тоже…

Он обнял её, ткнул свою голову в её колена и бормотал свои слова глухо, просительно и так потрясающе жалко, что сначала подавил всех своим появлением.

Наталья была испугана. Она прислонилась спиной к стене и с побледневшим, искажённым лицом схватила его за голову и пыталась оттолкнуть от себя коленями и руками, но он точно замер, вцепившись в неё, а она беспомощно шевелила синими губами и не могла ничего выговорить…

Но вот в комнате послышалось слабое хихиканье. Это за-

смеялась чёрненькая девица; её смех подхватили писарь и человек, похожий на повара. Наталья недоумевающе обвела их глазами, взглянула на Павла – и расхохоталась сама. Вся комнатка на чердаке тряслась от громкого, здорового хохота четверых людей.

Изумлённый, раздавленный этим хохотом, Павел сел на пол и смотрел куда-то в угол тупыми, безумными глазами. Он был действительно очень смешон. Его лицо, мокрое от слёз, остановившихся в рябинах, было жалко, растерянно, и всклокоченные волосы, выбившись из-за сдерживавшего их ремня, образовали из себя какую-то фантастическую, клоунскую причёску; тупые глаза, глупо раскрытый рот, рубашка, выбившаяся из-за фартука, и, наконец, какая-то грязная, мокрая тряпка, прицепившаяся к опорку на его ноге, – всё это не могло сделать его трагичными внушающим сострадание. Четыре разнообразно изогнутые от смеха фигуры и он, растерянно, молча и неподвижно сидевший на полу… Кто-то пролил пиво, и по полу потекла тонкая струйка, направляясь к Павлу…

Чёрная девица, в припадке восторга, бросила чью-то женскую шляпу, и она, пролетев через голову Павла, упала к нему на колени… Он взял её в руки и растерянно стал рассматривать.

Это разожгло смех ещё более. Смеющиеся охали, визжали, стонали… Павел встал на ноги… так он был ещё смешнее. Он был смешон и тогда, когда, шатаясь, пошёл к двери, а

в двери обернулся и, вытянув по направлению к Наталье руку со шляпкой, бросил шляпку на пол и сквозь зубы сказал:

– П…помни же!.. – и ушёл.

Его провожал неумолкавший хохот.

– Вот так герой!.. – кричал кто-то плачущим от смеха голосом. – Охо-хо!.. ха!.. ха!.. ха!.. Ах, чёрт его побери, ха!.. ха!.. ха!.. Нет, тряпка-то!.. ха!.. ха!.. ха!.. как хвост!.. ой, не могу-у!.. О, ха!.. ха!.. ха!.. волосы-то… ха!.. ха!.. ха!.. на голове… как венец, ха!.. ха!.. ха!.. Ой, чтоб ему… л…лопнуть!.. ха!.. ха!.. ха!..

А на дворе стучал дождь неумолкающей, скучной дробью… Была уже осень…

Целые три дня шёл этот дождь, сбивая последние жёлтые листья с чёрных, намокших ветвей дерев. С унылой покорностью судьбе деревья качали своими вершинами под злыми ударами холодного ветра, который с гневом и тоской метался по земле, точно отыскивая что-то дорогое ему. Упорный, настойчивый дождь и неустанно завывавший ветер создавали вдвоём то прекрасный реквием умершему лету, то необычайно визгливую здравицу воскресающей зиме. Плотные, скучно серые тучи так крепко окутали небо, точно не хотели уже больше развернуться и показать его измокшей, иззябшей земле… В программу четвёртого дня вошёл снег, носившийся тяжёлыми, мокрыми хлопьями над городом по ветру, всё ещё искавшему чего-то и бешено метавшемуся всюду, налепляя снег на стены и крыши домов белыми пят-

нами.

Вечером этого дня Павел перешёл двор походкой человека, свободного от занятий и дорожащего чистотой своих сапог, – перешёл и, поднявшись на лестницу, задумчиво стал у двери в комнату Натальи. Одет он был по-праздничному – чисто, лицо у него было покойно; но оно страшно похудело и осунулось. Подумав немного, он постучал в дверь и, переступив с ноги на ногу, стал дожидаться, когда ему отворят, еле слышно насвистывая сквозь зубы.

– Кто это? – спросили из-за двери.

– Это я, Наталья Ивановна! – ровно и громко ответил Павел.

– А!.. – послышалось за дверью, и ему отворили.

– Здравствуйте! – сняв фуражку, поздоровался Павел.

– Здравствуй, чудачина! Ну что, прошло с тобой? Ах, насмешил же ты нас тогда!

Ну и пришёл!.. точно тобой полы мыли. Что бы вот так же одеться, как сейчас!

– Не догадался я об этом, простите! – усмехнулся Павел, не глядя в лицо собеседнице.

– Чай пить будешь? подогрею самовар.

– Нет, благодарствуйте! попил уж я.

Тут Наталья заметила, что Павел изменил местоимение, и спросила его:

– Что это за благородство такое новое? На «вы» стал говорить.

При этом она несколько презрительно усмехнулась. Теперь он в её глазах уже не отличался ничем особенным от других людей. После того, как он валялся при людях у неё в ногах, цена ему очень пала. Бывало, её били более или менее жестоко за измену, и она от него ждала того же; но он оказался несколько иным, и, по её мнению, эта разница между ним и другими не клонилась в его пользу. Бьют – это значит любят, и когда истинно любят, то не только бьют, убивают, – идут на всё. А он свалился при людях в ноги и плакал, как баба!.. Это не по-мужски, не по-человечески… Нужно не вымаливать, не выплакивать, а добыть, завоевать женщину, тогда она будет твоей. Да и то не совсем…

Павел вздохнул и заговорил:

– Да ведь мы с вами не родня. Дружба между нами была, да она уж лопнула…

Чего ж!..

Наталья изумилась, но не показала вида. «Значит, он прощаться, видно, пришёл!..» Она села на кровать близко к нему и молча ждала, что он скажет ещё.

– Темновато здесь, Наталья Ивановна. Лампочку бы зажечь…

– Можно! – И она зажгла лампу.

Он заговорил снова, вдумчиво поглядывая на неё:

– В последний раз говорю я с вами, Наталья Ивановна. Да, уж больше нам не придётся говорить!..

– Что так? – спросила она, опуская глаза.

Она не знала, как с ним держаться, и выжидала время, когда ей представится возможность взять верный тон. Она находила, что он очень похудел за это время, и её немного удивляло его задумчивое спокойствие.

– Что так говорите вы?

– Да так уж, пришла пора. Подумал я, подумал и решил: надо всё это кончить.

Чего же? ведь нечего мне от вас ждать!? – Он пытливо посмотрел в её лицо.

Ей стало жалко сначала прошлого, а потом и его самого. Она видела, что, в сущности, он печален и убит, несмотря на своё спокойствие, а она была всё-таки женщина и, как женщина, не могла не жалеть, раз видела перед собой несчастного.

– То есть, как это вы?.. – начала она, подымаясь к нему. – Я ведь всегда согласна…

– Э, не надо! – махнул он рукой. – Конец. Дело решённое. Да вы и правы: по совести сказать, ничего бы у нас с вами не вышло. Какой я муж? Какая вы жена?

Вот в чём суть…

Он помолчал. Она никак не могла понять, куда он клонит… А в окна мягко стучал мокрый снег, точно хотел что-то предупредить и напомнить…

– Да… Это действительно… плохо бы было… – тихонько прошептала она и почувствовала, что ей становится всё более жалко и его и ещё чего-то…

– Ну, так вот!.. Но оставить я вас так не могу. Невозможно это мне. Носил я вас в моей душе такое долгое время… и много для меня значило… Опять скажу, первым человеком вы мне были. Первейшим. С первой вами я жизнь понимать настояще стал. Очень много вы для меня значили, и не было вам цены. Прямо говорю, в душе вы моей жили!..

У него начал вздрагивать голос, а она чувствовала, что по её щекам потекли слёзы и, почему-то не желая, чтобы он видел это, повернулась к нему боком.

– В душе вы моей жили!.. – ещё раз произнёс он. – Так неужели я могу отдать вас опять на растерзание?!. на поругание?!. на скверну?!. Никогда! Невозможно мне это! Чтобы человека, которого я люблю всем сердцем… который мне дороже всего… такого чтобы человека да другие поносили?! Этого не будет! Не могу я так, Наталья Ивановна, не могу!..

Он говорил это, как-то весь согнувшись и стараясь не смотреть на неё, и в его тоне, кроме горячего убеждения, звучало ещё что-то, просительное и извиняющееся…

Левая его рука лежала на колене, а правую он держал в кармане поддёвки.

– Так как же? – тихо спросила она, едва удерживаясь от рыданий и всё ещё не глядя на него.

– А вот так!..

Павел вынул из кармана длинный нож и ткнул его ей в бок, ровно и твёрдо вытянув руку.

– Ой!.. – слабо крикнула она, повернулась к нему лицом

и повалилась с кровати прямо на него.

Он принял её на руки, положил на кровать, оправил на ней платье и посмотрел ей в лицо. На нём застыло удивление, брови были подняты, глаза, теперь уже тусклые, широко раскрылись, и рот был тоже полуоткрыт… щёки были мокры от слёз…

Натянутые нервы Павла не выдержали больше. Он глухо застонал и стал целовать её горячими, жадными поцелуями, рыдая и дрожа, как в лихорадке. А она уже была холодна.

В стёкла окна стучал снег, и в трубе выл ветер холодно и дико. Темно было и на дворе, и в комнате… Лицо Натальи казалось просто белым пятном. Павел замер, склонясь над ней, и в этом положении его нашли к вечеру другого дня. Никто в продолжение почти суток не мешал им: одной – лежать на постели с ножом в левом боку, а другому – плакать, положив на её грудь свою голову, в то время как за окном ему громко вторил осенний ветер, холодный и сырой…

Была уже весна, когда над Павлом Арефьевым Гиблым совершали великий акт человеческого правосудия.

В окна залы заседания весело смотрело молодое весеннее солнце, жестоко накаливая гладко отшлифованные лысины двух господ присяжных, отчего те чувствовали сильную склонность ко сну и, чтоб не дать заметить этого товарищам, публике и суду, принуждены были наклониться вперёд и вытянуть шеи. Это придавало им вид людей, увлечён-

ных процессом.

Один из членов путешествовал глазами по физиономиям публики и, очевидно, не находя среди них ни одной умной, печально поматывал головой; другой крутил ус и внимательно смотрел, как секретарь чинит карандаш.

Председатель только что произнёс:

– На основании… ввиду полного сознания подсудимого… полагаю допрос свидетелей… – и, обращаясь к прокурору, спросил: – Вы ничего не имеете?..

Добродушный господин с тараканьими усами любезно улыбнулся председателю и откровенно ответил:

– Ничего-с!

– Господин защитник! Вы ничего не имеете?..

Защитник был искренен не менее прокурора и тоже громко сознался в полном неимении чего-либо, что, впрочем, было ясно начертано на его физиономии.

– Подсудимый! Не имеете ли вы сказать что-либо в своё оправдание?

Подсудимый тоже ничего не имел… Он был туп и производил на всех очень неприятное впечатление своим рябым и неподвижным лицом.

Но все трое – и прокурор, и защитник, и подсудимый, – как оказалось, надули публику, единогласно заявив, что они ничего не имеют.

Прокурор имел удивительную способность придавать своему лицу свирепое выражение голодного бульдога и сильную

склонность к аффектации и застращиванию присяжных тем, что если они отнесутся к подсудимому снисходительно, то он их перережет.

Защитник имел привычку во время речи протестующе сморкаться, патетически ерошить волосы и злоупотреблять жалкими словами. Он красноречиво, внушительно, протестующе и громко воскликнул:

– Господа присяжные заседатели!.. – и, вложив в это восклицание весь свой пафос и всё красноречие, бессовестно ограбил сам себя, ибо весь остаток речи вышел у него бледным, бездушным и ничего не сказавшим сердцам господ присяжных заседателей.

И подсудимый всё время имел тайную мысль, которую и объявил во всеуслышание после того, как ему сообщили, что его отправят на двенадцать лет в каторжные работы.

– Покорно благодарю! – поклонился он председателю и просительно проговорил с увлаженными глазами: – Ваше превосходительство! Нельзя ли мне к ней на могилу?

– Что-с?! – строго спросил председатель.

– К ней на могилу сходить!.. – робко повторил осуждённый.

– Нельзя-с! – крикнул председатель и мелкими шажками умчался куда-то в угол коридора.

И двое солдат увели преступника тем же порядком, каким всегда уводят из суда преступников… Вот и весь роман.